





Олег Вулф

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

СТОРОНЫ СВЕТА

№15

ПАМЯТИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА
ОЛЕГА ВУЛФА (1954 – 2011)

StoSvet Press
Нью-Йорк
2014

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
«СТОРОНЫ СВЕТА» №15
www.StoSvet.net
cp@StoSvet.net

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Олег Вулф (1954 – 2011)

РЕДАКТОР
Ирина Машинская

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Владимир Гандельсман
Кирилл Кобрин
Лиля Панн
Слава Полищук
Игорь Фролов
Валерий Хазин
Роберт Чандлер

ОТДЕЛ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Всеволод Ермолаев

ОФОРМЛЕНИЕ И ОБЛОЖКА
Сергей Самсонов
Михаил Кондратенко

ФОТОГРАФИЯ ОЛЕГА ВУЛФА
© 2014, Марк Поляков

КОРРЕКТОРЫ
Алла Стайнберг
Ольга Новикова

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЁРСТКА, МАКЕТ
Bagriy & Company, Inc, Чикаго
Руководитель: Семён Каминский

PUBLISHED BY STOSVET PRESS, NEW YORK

ISBN: 978-1499530957

© 2014, All Rights Reserved
Все права принадлежат авторам

Этот номер «Сторон света» необычен. Все материалы в нём так или иначе связаны с Олегом Вулфом – поэтом, прозаиком и редактором. Приведённая в журнале переписка даёт ещё одно измерение образу этого человека, проясняет что-то в созданном им проекте, значившем для него так много. Проекте таком объёмном, находившемся в таком постоянном и стремительном развитии, что не всегда просто объяснить его в двух словах. Мы надеемся, что необычный, менее жёсткий, чем обычно, формат выпуска поможет читателям, незнакомым с Олегом, составить представление и о нём, и о СтоСвете. Номер вышел благодаря щедрой поддержке друзей журнала: Роберта и Лиз Чандлер, Ольги и Габриэля Гольдбергер, Лили и Виктора Пан и Аллы Стайнберг. Им всем, а также моей семье и друзьям, далёким и близким, оказавшимся рядом – моя, навсегда, благодарность.

Ирина Машинская,
Редактор «Сторон света»

ОЛЕГ ВУЛФ

ДОЖДЬ

В потёмках дождь, как через лес мордва,
на войлоке выходит в острова,
и ты глядишь на световые пятна
и слушаешь, как там отводят ветвь,
чтоб лучше разглядеть окно и дверь,
и говорят неслышно и невнятно.

Дождь рушится в себя, как рушат дом,
в котором за обеденным столом,
под грохот, гомон, шум его и гам ты
уснул, не погасив настольной лампы,
и светом окружён со всех сторон,
к которому склоняются гиганты.

И вот ты спишь и выселен во сне
в отечество дождя, и там, вовне
ты видишь сад, и чёрные равнины
распутиц, и подруга и жена
смеющиеся отворяет рамы,
внезапным отсветом озарена.

И лето следом сходится в окно.
И светом полотно занесено,
на стол наброшенное, дно на дно
установленное донышками света,
и разговор уходит от предмета
в сетчатку лета, сумерек рядом.

Мели свою емелю, гильгамеш
дождя и гула, мирозданий меж
толкуй своё на скаредной равнине,
на сумрачной равнине постовой,
на чёрной горловине узловой,
на государства серой мерзловине.

Простенок, полустаночек, пустырь.
Забелят дырку, выдернут костыль.
Подстанция, ораторов саратов.
Никто тому виной, что вот те на.
И если это ад или стена,
так вот те руль и вот те рубль адов.

Ведь сказано же не тобой и мной,
что есть небесный суд и суд земной,
а этим мраком, всей его толпою,
равнины непроглядною толпой,
которою за мною и тобой
завалят след, за мною и тобою.

И дождь идёт за нами потому
дворами, пустырями, что ему
не проще выйти в пуговицу эту,
чем нам с тобой в единое ушко
двойною нитью. И куда ни шло,
живём, пообтираемся по свету.

Погасят свет за нами, вот тогда
мы станем частью правды, и вода
сойдёт в низины, броды, загарани,
уйдёт в породу пустошей, пустынь.
Забелят дырку, выдернут костыль,
забитый в сердце загодя, заране.

1 июля 2011 года в ответ на отзыв А. Грицмана, принявшего «Дождь» к публикации в «Интерпоэзии», Олег написал: «Андрей, я рад, что стихи пришлись ко двору, особенно “Дождь”, который я писал в непривычной для себя манере, когда стихотворение подкручивается кинетикой строфы». Стихотворение это писалось долго, постоянно преобразаясь, как и свойственно дождю, и, как и свойственно дождю, продолжая оставаться в сущности тем же. Окончательный вид стихотворение приняло в июне 2011 года. В таком виде Олег выставил его однажды утром на свою страничку в «Союзе “И”» и сказал: «Всё». И мы пошли праздновать. Отдельные фрагменты (как, например, «ораторов саратов») существовали уже давно и вош-

ли практически как были, а некоторые появились или были существенно изменены как раз в мае – июне (строфы 2 – 4). Олег часто писал прямо в html; транзитные варианты, к моему ужасу, исчезали, как мне казалось, навсегда. Но Олегу такой метод нравился всё больше и больше.

И тем не менее некоторые вариации относящихся к «Дождю» фрагментов оставались. Ниже публикуются две из них, ранняя (1) и позднейшая (2).

ДОЖДЬ. ВАРИАЦИИ

(1)

* * *

Урла двора, осот, пустопорода.
Темно с утра, босота огорода,
отъявленное небо у судьбы.
Рассвет выходит в старые столбы
и ставит день, как на пустырь ворота.

Бери его, весь в световых заплатах,
и, как записку, подверни в рукав,
чтоб ночью вникнуть в тайный смысл, заплакав.
Бульжников таращится икра в
небес подмётки, городов саратов.

Завален ливнем, гоном и дымом,
пустырь за проходною заводской,
а дальше вброд, дворами, тылом
расходятся сожители по дырам,
и юность платит даром за постой.

И льются в горловину поезда,
растягивая рельсов пуповину,
в несметное грядущее, когда
оно лишь способ света и вода,
в которую, зайдя наполовину,
забрасывает небо рукава.

? – 2010

(2)

* * *

...Поставленный на рельсы муравей
их стягивает к точке мировой,
где, схлопнувшись, меняются, и ныне,
не то чтоб роль или состав ролей,
не то чтоб дважды не войти иные

из вод, пока не вышел из одной,
но говорится не тобой и мной,
что есть небесный суд и суд земной,
а этим мраком, всей его толпою,
которую за мною и тобою
завалят след, за мною и тобой.

Шуми, вода. Который день простыл,
как за овражком выведен в распыл
разоблачённый другом ополченец
из беспогонников, окопник ли, чеченец,
обозный плотник, схваченный, где через
миры и бездны вымостила настил.

Март 2011

Тема муравья, поставленного на рельсы, вся эта тема параллельных была, может быть, самой трудной в этом стихотворении. Несколько раз Олег пытался мне (и себе?) объяснить, но эти разъяснения не поспевали за скоростью стихотворного текста. Я не хотела бы навязывать своего понимания читателю, лишь намекну, что речь идёт, в частности, о множественности жизней и измерений, о неоднократных перерождениях. Ниже привожу две вариации на эту тему – два варианта одного стихотворения.

(1)

* * *

Сходящихся параллельных
несвобода, она отсюда.
Ни правых у них, ни левых,
неподдельна и неподсудна.

Вот летят, я их почти что вижу,
а не вижу – слышу, как дождь сквозь крышу,
как они своим светом, свистом,
пересекаются. Сдвинешь с лязгом

поезда прыгающую каретку –
и пошла слепая копия перегона,
рельсы пересекаются, только редко,
дай им на это четыре года.

Там и жди на переезде поезд,
наклонившийся над машинкой,
чтоб узнать, чем он закончит повесть,
для чего скрывает её за ширмой.

17 августа 2010

(2)

* * *

Сходящихся параллельных
несвобода, она отсюда.
Ни правых у них, ни левых,
каждая неподсудна.

Вот летят, я их почти что вижу,
а не вижу – слышу их дождь сквозь крышу,
как они всем своим светом, свистом,
пересекаются. Математик с машинистом,

футболист с хлебопёком, каменщица, румыны,
просто так, параллельный токарь,

пересекается всё. В особенности – прямые,
им бы – не слиться только.

Если ехать на родину дёргать репку,
это рыхлая твоя родина, без перебора.
Сдвинешь поезда каретку,
и пошла четвёртая копия перегона.

Что печатает на переезде поезд,
наклонившийся над машинкой.
Как узнать нам, чем он закончит повесть,
для чего скрывает её за ширмой.

(2011?)

Цикл «Переселенцы» – одно из самых значительных поэтических созданий Олега Вулфа, и не случайно именно с него началось знакомство с его поэзией – и моё, и многих других его читателей. Впоследствии некоторые стихотворения он публиковал отдельно («Этап»), а некоторые не публиковал вовсе. Надо сказать, что своим поэтическим «избранным», своей *книгой* Олег считал опубликованное им на страничке в «Союзе "И"» – именно в таких вариантах и именно в такой последовательности. Окончательный вид страничка приняла в июне 2011 года. Некоторые стихи, в частности «Переселенцы», были включены в первую книгу Олега, «Снег в Унгенах», предисловие к которой он и попросил меня написать, давно ещё, «до нашей эры». Позднее сборник был переделан в книгу «Весной мы увидим Соснова», включающую в себя все «Бессарабские марки»; макет «Унген» был снят из печати (как раньше бы сказали: набор рассыпан). В последнем издании книги «Весной мы увидим Соснова» Олег полностью снял стихи: ему перестало нравиться собрание стихов и прозы под одной обложкой, и он намеревался издавать стихи отдельно маленькой книжкой, взяв за основу свою страницу в Интернете. Работая зимой и весной 2011 года над этой страницей, Олег много писал – не только новое, но чаще всего возвращаясь снова и по-новому к старым стихам. Здесь я привожу цикл «Переселенцы» так, как он был опубликован впервые. Я лишь добавила к двум текстам этого цикла посвящение (А. Избицеру) и заглавие («Этап»), возник-

шие позднее. Несколько других стихотворений опубликованы на страничке Олега, а также в первых изданиях «Соснова» (то есть и «Снега в Унгенах»).

ИЗ ЦИКЛА «ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ»

Путь в степи разбрасывается облаками, как
медяками моряк в притоне пустых сердец.
Всё прощено, кроме высокой лжи, моряк.
Меньше страсти, больше любви, пловец.

1 (Этап)

Один из местных, я его не знал,
мне указал назад,
где оседало зарево. Вокзал
перегорал в закат.

Впотьмах образовали крестный ход
толпа, конвой.
Кишел червями света поворот
бульжной мостовой.

Топтались то по снегу, то по льду
на выходе туда,
где в рукавицу, растолкав толпу,
дышали поезда.

Небытия распахнутый очаг
предмесьями небес
был разворочен. И закатный чад
свисал не здесь,

но в самом пекле адова котла,
таких полен,
что беглый взгляд мой выгорел дотла,
до дна спалён.

2

Человек бурятский, сырой лицом,
серый лицом. Выношенный отцом
двубортный выглядел молодцом.
Выглядел на потом. Затем,
что перемена тел.
Простыню перегона тянул вагон
за вагоном. Было пурге невмочь
ступу в воде толочь.
Коммунален, как мысль слепца,
плацкарт с головы, с конца.

Серочь, обморочь. Запах вод.
Шорох звуков и их поход
дальше, в проход.
Духу дышалось и там, где нет.
Щерился узкий свет.

Бурят подумал, что жизнь была
дольше пьянки, когда она
исходит, так и не нащупав дна.
– Ну-у-у, дядя моя! – он сказал себе
и сыграл на губе.

Ночь легла в молоко. Стрелец
молча глядел в люберец-елец
станции и перемены мест.
Плакал ребёнок, и был так мал,
что был девочкой и не спал.

3

Казанской железки леса-перелески.
Цепочка на кружке отводится баку.
Железнодорожник, дорожник железный
по улице местной, по хляби небесной
отводит собаку.

Закат, и товарный толпится на стрелке,
расписываясь через запятую
на стыке. Собака, и дождь, и
смолёные шпалы в поту и
кишечник железнодорожья

в тазу узловой. И хозяйки домашней
с водою следы, и дворовые лужи,
где дождь, уходя, забывает окурки,
и темень, и свет зажигают на кухне,
и небо со щелью, и двери снаружи.

4

Александру Избицеру

Полустанок в отставке. В остатке добра или зла.
Железнодорожность узла.
На морозе остаточный запах разъезженной стали.
Привокзальный кабак,
где любой из проезжих дерсу узала.

За стаканом вина, в индевелой кубышке тепла,
в лишнем риме, где в некоем роде, этруска
изумил бы, скорей, не состав, а простая кутузка,
где любой из приезжих дерсу узала,

кто-то курит и смотрит, покуда она не пришла,
на запавшее веко заката. Похоже,
кепка, фабричный прохожий,
где любой из приезжих дерсу узала.

За окном переезд, над которым пылает зола,
разминает составы. И с лязгом кустарным зима
передёргивает затвор, досылая в патронник
отстающий вагон, где любой из проезжих дерсу узала.

5

Мы жили до войны. За кадром,
разбитый вдребезги закатом,
шёл перелесок, и оттуда,
как краевед с запавшим веком,
глазело сумрачное небо
в густую глухомань земель,
ведущих к озеру. Ночами
мы раскрывали место в книге,
где был перезаложен палец,
и вчитывались. И в обнимку
под утро вслушивались в цокот
подков на улице, идущей
от рынка за город, к баракам
и перегону, где поныне,
как мелкий вор в горячей шапке,
бежит за поручнем осинник.
Мы жили, говорю, мы жили
здесь до войны. Нас больше нет.

6

Ты жил в вагоновожатые временца
жадных, поджатых старцев, стиранных мойдодыр,
табачку на понюх, на троих пьянца,
хлебца загодя, с бородой байды.
Пёкса в долю с бульбой из вещмешка
о равенстве. И раздавал пешка,
отпустив электричку жестом или плевком, куды
макаров гулаг не гонял. И проездной истёк.
Вагоновожатый умер в полупустом плаще.
На подъезде к Моздоку, нажав на стоп,
время вышло не сразу, а вообще.

7

Небеса засыпали, отбросив руку, отбросив руку
с сигаретой заката, как спят сироты, –

никого в изголовьях. Кровли
окраин в швах берегов. Коров ли
стада пересекали окрестность, русло,
тыльную сторону, место. Коров, овец ли
тыкались морды впотьмах в небеса, как в ясли.
Осторожно жидкость текла, как если
поворачивалась бы на бок, чтоб выйти в прорезь.
И тогда на барабан предместий
из туннеля накручивался поезд,
и впотьмах живые
пели смутным хором. Как баржу в иле,
стронув речь наутро, пока не спелись.

* * *

Ты не знаешь, как губы грохочут, губы.
Как грубы вагоны, ты не знаешь, дощаты, скупы.
Как степь разваливается под небом
и пахнет клевером, слышишь, отварным хлебом.
Ты не знаешь, не знаешь, как смотрит смущённая рана
из-под ладони, слышишь, под простой ладонью,
и перекликается с дождём охрана
перекрикивается с водой на

языке всех окраин, где тревога –
конец совсем прошлого, и если хочешь совета,
он не нужен. Смотри в оба,
как у заката поддёргивается веко.

* * *

Знаешь псковщину этого города. Как не знать.
Как звать. Как те звать.
Бетельгейзе. Обнимемся навсегда
в охапку. Бетельгейзе – это звезда.

А теперь ты молчишь ни о чём,
и я молчу городок коленей твоих.
И, как Господом уличён,

от звезды светло. И ты стоишь, в себе её затаив.

Вот она в тебе прямая стоит звезда.

Вот она повсюду. Она светла.

А я на шёпот эти дворы перетру,
прикушу эти старые города, подержу во рту.

* * *

Что ни то есть, то на совесть,

что ни то бишь, то утонешь, пропадёшь.

Что ни даришь, что с того из, горсть да грош.

Что ни братику сестрица,

то и платится сторица снова.

На какой щеке ресница, а, вдова.

Дай обнимемся в охапку,

не вдогонку, а в находку, в добрый путь.

Значит, свидимся в охотку как-нибудь.

На заснеженном вокзале

банным голосом сказали, в суету.

Это поезд до Казани, всё, иду.

Береги себя на совесть,

не сутулясь, не на то есть, на пути.

Я люблю тебя какой есть. Ну, иди.

* * *

Страшно свету без имени

полыхать в полынью.

Ты любить полюби меня,

я тебя полюблю.

Мир, не помнящий времени,

переменится весь.

Лишь на веру прими меня,

потому что я есть.

* * *

Ирине Машинской

Соловей, не жаворонок, поёшь.
Пополуночи осыпают щебень,
звёздный щебень сыплют в уральский ковш,
а прислушаешься – свист и щебет.

Свист и щебет в узкую щель, в проём
перегона, ржавый, почтовый, старый
ящик воздуха. Жадно живётся в нём
соснам, ввинченным в жизнь по самый

стон, покуда в чурку нейдёт тесак.
Пополудни свет удлинит слово,
и отбрасывается не тень, но сам
щебет света, хором поющий соло.

Что до меня, то я, выходящий вон
из страны в страницу, где вещи проще,
возвращаясь за снегом, вином, щеглом,
нахожу то плаху, то пепелище.

* * *

Весной мы увидим дорогу,
и лес за дорогой, и в нём –
луну, и вола, и корову,
глядящих в проём.

Корову, луну и Соснова,
вола, и дорогу, и лес,
и озеро в лодках ОСВОДа,
который исчез.

И будут глядеть на дорогу
и вол, и Соснов, и луна
из приисков леса, помногу,
как утро от сна.

* * *

Был март, и, как затока в заросли,
набился запросто в друзья,
опережаемому замыслом
левобережью бытия.

Спускали ночь, как хлам в бескормицу,
ручём, оврагом, вдоль реки,
где брошены, как горсть песка в лицо,
летающие товарняки.

И ты сказала: Боже праведный,
наш хлеб насущный даждь нам днесь,
а больше ничего не надобно,
пребудь как есть, благая весть.

Во мгле на полдороге в Поконо,
как некогда в Палангу, где
монеты кесаревой около
круги пропали на воде.

* * *

Я тебя в трамвае еду,
ты рукою помаши.
Ничего на свете нету,
кроме неба и души.

Ходят люди без покою
полковою заводной,
помаши ему рукою
и другою заодной.

Эта устная водичка –
ни напиться ни напиток,
девятиночка, синичка,
как, скажи, теперь не быть.

Как же мы с тобой не станем,
если нам не быть потом

за девятым запятаньем,
задевающемся, тем.

Неужели так бывает,
так бывает, погоди,
вот оно пылит, пылает
впереди ли, позади.

8 сентября 2008

ПУТНИК

Вечером нечего,
Речка нейдёт в ведро.
Вечево во облацах,
нечтвое вечеро.

Гуси себя скрипят
с головы до пят.
Вечеро спичное.
Начисто утречно, птичное.
Судьбяна изба,
Прятала ос в меху.
Сослепу с поезда
Вышел, бос в снегу.

Баба, взболтай мирку
лубяной водой.
Подпол, сыр,
на полатах сын,
да совсем седой!

Дай обспичкаю, люльку выскоблю.
Дай тебя одну люблю-вылюблю.

Страшно жить – не жалеть,
Крылья машучи, брось.
Я по звёздной ходил золе,
Знал, где наборных хоронят ос.

Знаешь, где умирать умирает шмель?
В солнечных деревнях, у швей.
Ты возьми у неё шинель
Укрой нежней.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОВ¹

* * *

Как мне хочется цвета, свойственного последнему из
предвоенных лет. В полупустой стране
велосипед оперетты, утренник, солнечник ли, круиз
в печники-лавочки, к городской родне
толповатее, видит Бог,
чем можно судить по тебе и мне.

Куда ведёт твоя из видимых сверху, в прицел, дорог,
спросишь у встречного. Можно добыть огня,
выведашь о погоде, поведав об.
Необязательно, знаешь, его пролог
близок твоим итогам. В этом же свете он видит тебя, меня
до последней пуговицы, трещины на сапоге.

Будто по сапогу возможно судить о ноге
и её последствиях. Словно по
причине того, что случится в дороге с тобой ли, мной
всё имеет значение: пуговица, сапог,
сбрасывается ли тень,
светит ли звёздной тьмой
то, чем за этим светом станут тюрьма с сумой.

(? В этом виде: весна 2011)

¹ Более полная подборка неопубликованных стихов, в том числе ранних, выйдет в конце 2014 года в сборнике памяти Олега.

* * *

Если знаешь,
зла вещь.
Если любишь,
юн лишь.

Что ищешь,
чисто.
Выскабливаешь
лишь то.

Луч упал на
крыше.
Слесарня
тише.

Вот пекарь,
лекарь.
Брось якорь,
утварь.

8 апреля 2010

ПОДЕЛЬНИК ТВОЙ, ОН ПОНЕДЕЛЬНИК МОЙ...

Подельник твой, он понедельник мой,
и ходит поотдельно от одной
от станции от дальней отправной.

И степь лежит, куда рука дошла,
куда дошла до самого до шва,
до шва, где жизни сходятся, жена.

Я наготу последнюю твою,
своею наготою узнаю,
как выживший, и слепну на краю.

И понедельник, и простой пошив
дощатым утром, и твою вложив
в свою ладонь, решаюсь, не решив,

куда теперь в напаянной судьбе,
которая отныне и тебе
и мне мала, которой было две.

1 августа 2008

Публикация и примечания Ирины Машинской

ОЛЕГ ВУЛФ

Если ты приехал в город, где тебя не встречают, то это – город N. Теперь никто не запретит тебе пройти его свободным и ясным, продуваемым ветром с севера, в остатках пальто. Так сбываются сны о свободе, проходит юность: не с возрастом, не с утраченными надеждами, но только своим собственным ходом.

Олег Вулф
5 мая 2010

ЭССЕ И ДВА РАССКАЗА

Литературная критика

Литературная критика решительно противостоит современной себе литературе и представляет собой процесс консолидации этого противостояния.

С тех пор как был застрелен последний графоман, современный писатель является самозванцем, а литературное произведение – самоназванием, никогда не бывает прочитано так, как написано, полностью посвящено собственным литературным достоинствам, пригнанным под известный бренд, является заговором и разоблачается критиком при помощи доноса.

Литературная критика обладает правом последней инстанции на первую ночь, а также остальными правами. На её рабочем столе – гусиное перо, набор румян, сборник статей К. Анкудинова на молдавском языке, небольшая болванка малоизвестного писателя, в первом приближении оструганная под собирательный портрет антигероя нашего времени, и некоторое дымящееся количество нашего времени в сосуде, который критик осторожно подносит к глазам, внимательно, сокрушённо морщась.

Некоторые говорят, что это – не что иное, как кровь невинных писателей.

Литературная критика убеждена, что никакой литературы нет и не будет. В лучшем случае литературой можно назвать детские воспоминания и прочие мемуары. Взрослые не играют в литературу. Взрослые люди вообще не играют. Война – вот занятие взрослых людей. Война всех против всех за сферы влияния, деньги и власть.

Литературная критика – один из способов ведения этой войны за власть, малоэффективный, устаревший, поросший быльём и травой тактический ход времён покорения Крыма. Пудовый артефакт, доставшийся в нагрузку к прочему наследному хламу, который поставить некуда, а выбросить богородица не велит.

Неряшливый, неуклюжий, громоздится он за спинами атакующих полков.

18 августа 2010

Критик Б.

Глухой железнодорожной зимой в губернском городе N хоронят литературного критика Г. Поочерёдно вглядываются в пристальное, нездешнее лицо, какие бывают у слепых при жизни. Описание этого лица тут ничего не даёт, даже ничего – и того не даёт. Возможно, это лицо, очеловеченное подлинностью небытия.

Расходятся по двое, по трое.

Критик Б. возвращается домой пешком, один. Вечернее небо в городе нарезано и склеено таким образом, что состоит из разговаривающих птичьих профилей, в которые помещены деревья, дома и самые дальние звёзды.

Свернув за угол, Б. неловко падает, получив внезапным снегом в плечо и поскользнувшись.

Здравствуйте, говорит писатель В.

Ага, отвечает критик, отряхиваясь.

Чего вам от меня надо? – говорит писатель В.

Не читать, говорит критик.

Почему, говорит писатель, вопросительно улыбаясь. Сколько раз обращался к вам за помощью, вы никог-

да не отказывали в обещаниях. Хотите о карточных долгах Достоевского?

Критик Б. – человек той самодостаточной непримечательности, у которого под окном вдруг начинают расти кусты, похожие на стираное бельё, и на третий день он просыпается – от треска, с которым растёт кустарник, а уже на пятый в городе о нём говорят что-то вроде того, что со сцены раздался Фирс. Не зажигая света, не раздеваясь, он стоит сейчас посреди своего кабинета, в его развалах и грудях. С пальто и ботинок натекло, Б. этого не замечает. С утра прихватило сердце, и к вечеру день раскатился на ртутные шарики. Пропал день.

Утром он ещё лежал в постели, молча глядя в окно на кусты и небо, взвешивая этот день на бесчисленных одновременных своих внутренних чашах, и понимал его, мира, сказанность и высказанность, гортанные его слова, имеющие начертание сказанного, они появлялись, как платаны и раковины, дуновения и равнины, и он клал руки на них, как хозяйка на тесто или ребёнок на плиту, нагретую солнцем, и радовался в своей душе, и счастье это происходило не в результате событий и сущностей, а от их гармонии, одновременностью которой состоялась его душа. И он лежал, глядя в эту гармонию извне и изнутри её. И шёл потом по камням, перепрыгивал с камня на камень, возвышающиеся над водой, и зашёл в море так далеко, как мог, до последнего прыжка на последний камень.

Стоя на камне и глядя сразу на всё перед ним, он понимает теперь, что взрослые не играют в литературу. Взрослые люди вообще не играют. Одни живут литературу, другие её воюют. Война – вот занятие взрослых людей. Война, где каждый, кто вывалился за спины атакующих батальонов, добывает раненых, пробавляясь сельским мародёрством. Где бронзовый жук в жухлой траве, утренний, порченный морошкой снежок, мало-кровная утварь в угловой квартире, под утренним башмаком грошового мироеда, мелкая история семейного предательства, выболтанная потерпевшим на правах брезгливого сострадания.

Войдите, говорит Б. в ответ на звонок. Не заперто.

Это мы, тихо говорит В., стоя в дверном проёме рядом с молодой женщиной.

Глупый снежок, не правда ли, говорит женщина.
Б. оборачивается на её лицо, и она смеётся, как опечатка².

Арутюнов

Легли рано: без света работы не было. Сны, мешавшие спать, растолкали, разбросали спящих. Едва стемнело, обрушился ливень, и без того ветхие жилые палатки геофизиков провисли. Одна из них, Арутюнова, разом завалилась, и, выбравшись, он молча принялся вытягивать из-под неё вещи: брезентуху, сапоги, ружьё.

Глядя перед собой, он одевался под деревом. Глаза потихоньку привыкали к увиденному: за открытым местом, отведённым под полевой лагерь, шёл, разбалтываясь в берегах, мутный поток, бывший горным ручьём. Арутюнов шагнул к уязику, хлопнул лёгкой дверцей, запустил двигатель, включил фары и тогда увидел, какой сильный это был дождь.

Уязик, переваливаясь с камня на камень, не спеша шёл прочь от потока, минуя брод. До Самура и дороги, ведущей над ним в Ахты, – пара километров кружного пути, фары пробивали не дальше, чем полоска света под дверью, и в этом свете Арутюнов увидел горца. Тот стоял с поднятой рукой, высокий, прямой, борода его была вдвое длиннее себя, дождь стекал с неё под ноги. Другой, безбородый, подошёл с водительской стороны, что-то сказал на хновском диалекте рутульского языка, не пытаясь понапрасну перекричать падающую воду. Арутюнов только помотал головой. «Нам нужно в Ахты», сказал горец полезгински, терпеливо улыбаясь. «Сколько вас», спросил Арутюнов. «Двое». «Могу взять одного», сказал Арутюнов, «оружие пусть оставит». «У него нет оружия», сказал, наклонившись, горец, «у меня тоже. А у тебя ружьё».

Арутюнов резко толкнул дверцу, съехал назад, упёрся колесом в камень. Теперь он видел их обоих и, выйдя из машины, огляделся. Оба горца стояли, глядя на фары. «Не надо глупостей», сказал Арутюнов, «пусть горят». «Прогорят», ска-

² Вариант окончания:

Войдите, говорит Б. в ответ на стук. Там не заперто.

Здравствуйте, тихо говорит В., входя. Простите мне этот глупый снежок. Не ушиблись? Виделись, говорит Б. (Прим. И.М.)

зал безбородый с сомнением. «Ничего», сказал Арутюнов. Они помолчали. «Ты кто», спросил Арутюнов у бородатого. «Всегда найдутся вещи, о которых хочется спросить кого-нибудь другого», отвечал тот, глядя на него босым взглядом, каким глядят сквозь дождь.

«Чёрт с вами, садитесь оба», сказал Арутюнов, вспомнив о спящих.

Ему подумалось, что этот дождь похож на его, Арутюнова, бабу, потерявшую память о том, что, когда и как происходило и происходило ли вообще, но очень хорошо помнившую саму жизнь. Нельзя стереть мёд, разве что смыть, и только водой, такой же, как мёд, и тогда можно вернуться, уйти в возвращение, столь глубокое, что глагол всей глубины этого возвращения не исчерпывает, и люди говорят «вернуться назад», как будто можно вернуться вперёд.

Из крепости Ахты в эти места дорога была пробита войсками генерала Ермолова, воевавшего с имамом Шамилём, и теперь они молча громыхали ухабистыми её тридцатью пятью километрами, петляющими над Самуром (справа – отвесная скала, слева – пропасть), такими узкими, что встречный – часть судьбы, колесили под ночным ливнем, в глубокой, крошечной его мгле, как будто сами были частью судьбы чего-то много большего, чем эта ночь, дождь и рабочая поездка, как всякая цель, продетая в ушко, пробавляющаяся собственной серостью, рутинным порядком.

Горцы молча сошли в Ахтах на окраине, под фонарём, и Арутюнов постоял, глядя вслед. На аэродром было ещё рано, он пристроился неподалёку и задремал за рулём, сбросив энергию ожидания среди тощих пятиэтажек. Вряд ли им дали вылет в такой дождь, думал он о махачкалинском рейсе и о двух пареньках-геофизиках, летевших через Махачкалу в поле с большой земли, которых приехал встречать.

К рассвету дождь в Ахтах перестал, и Арутюнов, вздрогнув, проснулся за рулём от старости.

4 мая 2010

Публикация Ирины Машинской

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ ЮЛИИ ТРУБИХИНОЙ

1) Расскажите о себе (где / когда родились, когда и откуда приехали, где сейчас живёте, что считаете родным городом и родным языком, кем работаете / работали «по жизни», так сказать; если вы издаёте журнал, пишете блог, активно занимаетесь литературным переводом, занимаетесь или какое-то время занимались культуртрегерской деятельностью любого рода, например у вас издательский проект, или вы организуете чтения, расскажите об этом).

Писатель рождается многократно, едва ли не ежедневно, таким образом компенсируя окончательность небытия, в этом состоит его сюжет, и это – хорошо. В моём понимании, место рождения, род деятельности и т. п. вещи, присущие имени собственному героя, второстепенны по отношению к тому совокупному языкознанию, в котором появился, к чтению следов на снегу, к реальному веществу жизненному и творческому. Если жизнь в своей условной краткости имеет ценность этого человека, то особенности его биографии с этой ценностью несопоставимы. Если жизнь, в силу своей краткости и благодаря забвению, этой ценности лишена, то её фактография и биография – тем более. Не каждый может позволить себе богатую биографию и не раствориться ней. Собственно, пользуясь возможностью, так я и рассказал бы о себе, несмотря на то (или благодаря тому), что родился в бывшем Советском Союзе, откуда эмигрировал в США, где пишу стихи и рассказы, а также вместе с Ириной Машинской издаю журнал на двух языках, который называется «Стороны света» (www.stosvet.net).

Увы, у меня довольно обширная биография.

2) Как вы себя видите – как американского поэта или как русского поэта? На каком языке вы пишете? Где печтаетесь? Кто вас издаёт? Переводит? Где, как вам видится, ваш основной читатель и есть ли он? И вообще, кто он, этот читатель? Имеет ли сегодня значение (и какое, если да), что вы живёте вне страны языка, на котором пишете?

Я не вижу себя поэтом – всё равно, американским или русским – не только в силу условности такого рода понятий, но потому, что взгляд на поэта возможен только со стороны. Скорее, мне выпало

счастье дружбы с несколькими поэтами, на чьём примере я мало-помалу начинал понимать, что это такое. Кто-то из них, возможно, также видит меня поэтом и, в свою очередь, получает опыт такого понимания.

Несколько моих стихотворений перевела на сербский замечательный исследователь литературы Драгиня Рамадански, рассказы переводит на английский Александр Вейцман, поэт, переводчик и эссеист, живущий в Нью-Йорке. Стихи и проза время от времени публикуются в разных журналах, совокупный читатель которых мне мало известен. В этой сокренности читателя есть своя справедливость, ведь я пишу не специально для него, отделяясь, в этом смысле, общими фразами, а для своего внутреннего читателя. Так же как и читатель журнала читает стихи не для меня, а следуя своему внутреннему писателю, ни к этим журналам, ни к моим стихам, ни ко мне прямого отношения не имеющему. Возможно, в этом смысле я – американский или русский поэт, хотя некая значительность этого понятия живёт не дольше, чем о нём думаешь.

3) Актуально ли для вас сегодня понятие «exile» (вовсе не обязательно с политической точки зрения. Может быть, с философской или общей, или как некая маргинализация вас лично как поэта или же поэзии в целом в сегодняшней культурной ситуации) или же это понятие устарело вместе с дискурсом девяностых?

Очень важно, что поэт, живущий «в родстве со всем, что есть, уверясь», при этом создающий нечто небывало своё, всей своей ясностью вырванное из принятого контекста, не может не быть маргиналом. «В сем христианнейшем из миров поэты – жидаы», и по эту суждено оставаться на людях, будучи даже не маргиналом, даже не изгнанником, но – изгоем, человеком крайней, маргинальной степени свободы, граничащей с преступлением (вспомните слова Осипа Мандельштама о ворованном воздухе). Сам того не желая, поэт вчуже поэтизирован, если не политизирован, тем или иным образом возвращён в табель о рангах, и биографией подменяют ему судьбу, как младенца в роддоме.

4) Как бы вы описали свою поэтику? (Вот это мне особенно интересно!) Назовите вашу последнюю книгу или книгу, над которой вы сейчас работаете.

Небольшая книжка моих рассказов «Бессарабские марки» почти целиком опубликована в мартовском номере журнала «Знамя» за 2010 год, а в мае вышла книгой в нью-йоркском издательстве «Стосвет». Недавно там же вышла книжка стихов и рассказов «Весной мы увидим Соснова».

Что до поэтики как творческой манеры, то поэт начинается с уникального, безошибочно узнаваемого голоса. Без своей поэтики поэта нет. Кажется, Антонио Мачадо принадлежит высказывание, в моём изложении звучащее так: положи стихотворение на ладонь, вынеси на ветер, пусть из него выдует мысли, ритм, музыку, рифмы, форму, и тогда то, что останется, – будет поэзия.

Но есть некая невозможность окончательной поэтической простоты, грань, за которой истончается и заканчивается мастерство, опроцается поэт. Каждое стихотворение – книга, которую не написать, и, как всякая удача, оно происходит внезапно и никогда не отчуждается. Стихотворение не выносит тотального мастерства, которым национализируется, но всё же для мастерства у него своя планка.

5) Кто ваши poetic influences (необязательно русские или только русские; и необязательно сейчас – может быть, раньше)?

Без своей поэтики нет поэта, но есть тысячелетний чернозём, куда эту смоковницу воткнули, он и делает её плодоносящей. Я мог бы перечислить десятки, если не сотни имён этого чернозёма. Для меня это – та часть русской и вообще мировой культуры, в которой вырос, но прежде всего – круг близких мне людей, где наиболее различимо дыхание «почвы и судьбы».

6) По вашему мнению, кто из поэтов более или менее современных (ну, скажем, ещё живущих или живших и писавших в последние сорок лет, то есть с конца 1960-х) более всего повлиял на развитие русской поэзии? Каким образом?

Я не думаю, что есть такая вещь, как развитие русской и вообще поэзии. Скорее, это – глубина проработки тех или иных выразительных средств, заложенных в языке, что, собственно, и локализуется стихотворением.

7) Кого бы вы назвали в числе самых для вас интересных современных / молодых поэтов (необязательно только русскоязычных, особенно если вы пишете на английском, хотя русскоязычные мне, конечно, очень интересны)?

Сложный вопрос. Современная русская поэзия плодотворна. Тем не менее, назвав одного поэта и забыв о другом, выстраиваешь, сам того не желая, поэтический ранжир. Мне более по душе уединённость гамбургского счёта в узком кругу.

8) Как бы вы описали состояние русской поэзии сегодня (в метрополии, или в диаспоре, или вообще)? Есть ли какие-то обстоятельства или качественные изменения самой поэзии или культурной ситуации в целом, которых никогда раньше не существовало и которые каким-то существенным образом на поэзию влияют?

Эта уединённость гамбургского счёта в узком кругу была и остаётся единственной возможной культурной ситуацией. Литературные журналы на такую ситуацию даже не претендуют. Писатели и поэты, серьёзно работающие в русском языке, вырастают вне зоны влияния литературных журналов, писательских организаций, университетских коллегий, комитетов по присуждению той или иной премии, государственных фондов и границ.

Точно так же, как журналы, организации, коллегии и фонды прекрасно обходятся без них.

9) Может быть, дурацкий вопрос, но уж напрягитесь. Вот как автограф на авантитуле книжек издательства «Пушкинский фонд»: ваше стихотворение, которое на этот момент может быть вашей «визитной карточкой» (хотите, пошлите в атачменте, а хотите, просто процитируйте здесь пару строчек, только название, пожалуйста, не забудьте).

* * *

*Узкую песню тянут, что было сил зажмурясь, сжав кулаки, из ртов.
Керосиновый луч подними, освети их лица истцов.*

*Песней обнесена на свету оса. Свинчена в ось пыльца,
спасена, к вечеру лишь осыплется.*

*Как борется человек за болевой мосток между я и нет,
горит постоянный свет, будто яви нет.*

*Мать, рожаящая войска, смотрит за ней в окно,
на световую осу, свинченную в одно.*

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ РЕДАКТОРА

Олег написал тысячи писем. Ни одно из них не было случайным, ни одно не было отпиской. В формате журнала невозможно представить даже очень избранное. Ниже приведены лишь несколько писем, связанных с редакторской работой.

Я начну с нескольких писем, демонстрирующих редакторский подход Олега к проекту в то время, когда журнал уже *устаканился*, а мы, его редакторы, уже приобрели какой-то опыт. Эти подробности кажутся техническими, но по ним видно, как гибко было отношение Олега к проекту. Направление легко менялось технически (скажем, принятие решений о бумажной vs. сетевой версии – туда-сюда), но суть его оставалась именно такой, какой Олег её видел в самом начале.

А. Лапину
18 июня 2009

Существующий проект «Стосвет» является порталом, то есть множеством сайтов, объединённых идеями. Там есть и Ваш сайт («Союз “И”»), и Ваши публикации (журнал «Стосвет»). Четыре номера журнала вышли на бумаге (с 7-го по 10-й)³. Повидимому, на бумаге мы больше выходить не будем: журнал не раскупается. Что до портала, то он посещается активно. Мы думаем, идея периодического журнала устарела. Время с его периодикой изменилось и изменяется. Поэтому на экране компьютера будет один номер журнала с постепенно и постоянно изменяющимся содержанием.

Олег.

Проект письма читателям журнала.
Начало 2010 г.

Этот номер – последний в череде отдельных выпусков «Стосвета». Изменилось само отношение к периодике с её переменными. Идея периодического литературного издания не вполне отвечает нашему пониманию литературного процесса во времени. На сайте журнала, помимо архива, будет размеще-

³ С тех пор на бумаге вышли №11 и №12 (vol.1, 2, 3); последний стал журналом Cardinal Points (Прим. И.М.).

на книжка (не номер) журнала. Лучшие материалы, в том числе опубликованные ранее, будут открыты для чтения, постепенно уступая место новым и уходя в архив. Отказ от традиционной журнальной периодики для нас, по всей видимости, неизбежен. Это – наша попытка вернуться к человеку, неподвижному по отношению ко времени («Идут за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия»), к человеку, вымываемому встречным течением времени, обращённому ко времени лицом. Частица бытия уносится этим течением, всё более оголяя душевную доминанту, слово, силу духа, с которыми пушкинский человек противопоставляет бесчестью нравственной гибели, её мародёрству. В опоре на мужество этого противостояния он ясен и непротиворечив. Современный его наследник всё глубже этому противостоянию закрыт, им не прояснён, всё с большей готовностью воспроизводит среду, где сущностным ценностям отводится неопределённая роль тормозящего фактора, оппонирующего успеху. Правда его драмы – в отказе от них и в связанном с этим отказом непокое. Это состояние непокоя сакрализовано современной моралью в обоснование необходимости перемен (необходимости смены перемен), а человек непокоя назван динамичным человеком. С обоснованием этой необходимости человек (а значит, его литература) есть попытка обживания хаоса. Внутренняя готовность соответствовать изменяющимся обстоятельствам обращает человека лицом туда, где бытие его исчерпывается событиями этого подчинения. Новая концепция журнала, как и подход к публикациям, должны реализоваться в противостоянии этой реальности. Есть ещё одна важная для нас составляющая обновления журнала. Это – публикации англоязычных авторов. 12-й номер полностью будет посвящён публикациям на английском языке, и в дальнейшем его материалы будут обновляться не номерами, а по мере внутренней необходимости, как и русская версия «Сторон».

Игорю Фролову

3 января 2010

Дорогой Игорь, поздравляем с Новым годом! Пишем «поздравляем», хотя, похоже, никаких людских заслуг тут не наблюдается, если не считать, конечно, радости каждому новому дню, о которой Вы написали. Но люди часто единодушны в том, в чём простодушны.

Два писателя, мы придумали на свою голову журнал, теперь ещё и английскую его версию, первый номер которой выпустим к концу января. Причём авторы – именно английские и американские писатели и переводчики. Естественно, английская версия ориентирована на русскую культуру. Большая и сложная тема Шаламова, Цветаевско-Ахматовская, работы по Пушкину, прекрасные разработки по теории перевода и т. д. Похоже, этот номер привлечёт к себе серьёзное внимание и интерес англо-американских читателей, университетов и пр. Если не ошибаемся, «Стороны» – единственный двуязычный литературный журнал такого масштаба.

Счастья Вам, а если его на свете нет, то покоя и воли. Вдохновения, радости.

И крепкого здоровья.

Ваши Ира и Олег.

Мы вечно ломали голову: где взять деньги на журнал. И тут по Интернету мне пришла информация о некой возможности финансирования журнала. Я переслала её Олегу, и вот его ответ, очень характерный (причём мы уже живём в одной квартире, но я, видимо, на работе).

Ирочка, наши проекты – журнал, издательство – весь портал творческих сайтов. На двух языках, в двух, просто говоря, культурных нишах. Никто не финансирует, даже друг < > слушать не захотел. Может, найдётся американский финансист?

Журнал «Бельские Просторы», где Игорь Фролов – техредактор, финансируется и издаётся правительством Башкирии (Башкортостана).

Что же нам, получается, кроме американских грантов, некуда? И/или в росс. посольство?

Российские писательские премии – строго по разнарядке. Распределено – всё. Даже вход в ЖЗ закрыт. Интересно, возьмут ли туда БП Фролова, пересилит ли башкирское правительство московского ломового.

Нижеуказанный freelance – для вузовских выпускников, конечно. Идти туда нам бессмысленно, если не преступно.

Вся эта деятельность – журнала, основанного исключительно на энтузиазме, – предполагает массу комического. Вот ответ на присланное нам резюме с предложением взять в штат редколлегии, на удивление серьёзный, несмотря на утомительность ситуации. В таких случаях за дело принимался некто Всеволод Ермолаев.

18 января 2010

Уважаемая Светлана, спасибо за предложение!

Мы находимся в США, где и выпускаем журнал. В редакции никто не получает зарплату.

Хотите – присоединяйтесь :)

Всего Вам доброго!

Всеволод Ермолаев.

Завотделом корреспонденции «Сторон света».

Олег был таким замечательным редактором в первую очередь потому, что был замечательным читателем – вдумчивым, искренне заинтересованным и щедрым. Не скрывавшим своего восхищения, если таковое возникало. Никогда не говорившим с авторами отеческим редакторским баском. Ниже его ответ на присланный в тот день рассказ уже печатавшейся у нас к тому времени Ирины (Ляли) Нисиной, прозаика из Австралии – он поразил нас обоих.

28 марта 2010

Дорогая Ляля, должен с восхищением сказать, что Вы выросли в превосходного, убедительного, большого писателя, и я Ваш читатель. Рассказ «Ветка мимозы» мы с удовольствием опубликуем. Сначала в сети, а потом, когда наберётся русский номер, и на бумаге.

Всего самого доброго.

Ваш Олег.

А это письмо совсем другого толка – но по сути такое же искреннее и щедрое, несмотря на официальный формат. Двухтомник автора «Сторон света» (а ныне и члена редколлегии) Валерия Хазина вошёл в лонг-лист литературной премии «НОС») 2010 года. И вот информационное агентство «Ньюс-НН.ру» (Новости Нижнего Новгорода) обратилось к Олегу в просьбой прокомментировать:

1. Творчество Валерия Хазина.
 2. Факт включения книги в список претендентов на премию.
- Ниже ответ Олега.

НА: О. Вулфу запрос на комментарий от ИА Ньюс-НН

Здравствуйте, «Ньюс-НН.ру».

У вас опечатка в написании моей фамилии. Правильно – Вулф.

1. В.Б. Хазин – не просто прозаик, а именно писатель в классическом понимании слова. Композиция и язык его произведений обладают всеми признаками глубины и уникальности авторского дара. Повести и рассказы Валерия Хазина не просто читаются, им доверяешь и, более того, доверяешься. Есть понятие писательского блока (writer's block, так называемая боязнь чистого листа). Существует, однако, и блок читательский. Открытость, чуткость, смелость читателя – непереносимое условие, ключ, отворяющий перед ним двери во всё великолепное многоголосие литературного пространства, созданного Валерием Хазиним.

2. Вышедшие в издательстве «Литера» двухтомником «Труба» и Глоссарий к тексту, именуемому «Труба», а также «Девять вечеров и ещё один вечер» (повесть «Каталоги телефона», рассказы и эссе) Валерия Хазина – безусловно, выдающееся событие в современной русской литературной реальности. Не «знаковое» – а именно выдающееся, поскольку книга эта уже стоит на литературной полке национальной российской культуры. Я уверен, что эта многослойная, многоуровневая проза во всём своём интеллектуальном, ассоциативном богатстве может быть оценена по существу многими поколениями исследователей, читателей и учеников.

С уважением,

Олег Вулф, поэт, главный редактор литературного журнала «Стороны света» (Нью-Йорк).

Впрочем, негативных ответов Олегу приходилось писать порядочно. Мы довольно быстро поняли, что стать редактором журна-

ла значит научиться говорить «нет». Литераторы – народ обидчивый до крайности. Мы стали быстро обрастать недоброжелателями, часто об этом даже не подозревая. Но Олег всегда отвечал, иногда, на мой взгляд, даже излишне подробно. Он был честный редактор, редактор-трудяга. Много ли сейчас таких?

Вот фрагмент негативного ответа нашему коллеге по журналу Роберту Чандлеру по поводу конкретной, рекомендованной им стихотворной подборки и связанного с этим вопроса о конкурсе «Пушкин в Британии». Привожу его в английском оригинале, ничего не меняя:

a) <The > “Russian poets living abroad” <category> is a false and, given today’s realities, hypocritical term. After all, Russian poets are not divided into such categories anymore, regardless of the exact location of their physical bodies – just like Paul Bowles (who lived in Tangier) or Hemingway (in Cuba or Paris) were not perceived as “American writers living abroad,” and one can’t imagine a contest category created for them based on their travels.

b) There exists an imperial isolationism inherited from the USSR years (as well as from the Russian empire) and a certain claustrophobia stemming from this isolationism. The contest is called Pushkin in Britain for a reason: after all, Pushkin himself wouldn’t be able to travel this far.

It is for these particular reasons (at least), that neither Irina, nor I have ever partaken in contests of this kind, with one exception for Irina winning the First prize in the Russian America contest back in 2001 (although because of the September 11 events she ended up never receiving the money awarded).

As for the poet herself, in my humble opinion, the texts are rather second-handish; they present the reader with the usual mixture of Brodsky and the Russian post-modernism of 1980-90s – the mixture so familiar to us Russian editors. The problem with such poetry is that its essence and method prevent the author from the risky revealing of the core of her <poetic> personality – which is, to me, a must for any real poetic text. The risk I am referring to is based on the fact that revealing of the poetic persona behind a poem would have destroyed the poetic texture and substance.

We are both back from our trips to Russia and are so happy to be at home and back to work – and first of all, on finishing #12.

Warmly –

Oleg.

Для Олега самое главное и интересное – разговор по сути, в том числе – и, может быть, именно в первую очередь – разговор эпистолярный. Ему ужасно нравилось моё словцо (а я и не подозревала, что я часто его произношу – пока он мне об этом не сказал): *сущностный*. Ему нравилось и слово, и то, что за ним стоит. Он с удовольствием его проговаривал.

Ниже очень характерное коротенькое письмо, одновременно рабочее и дружеское.

3 сентября 2010

Славе Полищуку

Слава, спасибо, это яркий, сущностный текст, Ира тоже заинтересовалась и может присоединиться к разговору.

Я думаю, этот текст можно дать как вводный, в самом начале, а потом разговор пойдёт своим чередом.

Кстати, неожиданная новость: русская редакция радио Свобода в Лондоне сделала передачу-интервью с Робертом Чандлером о нашем англоязычном номере:

<http://www.svobodanews.ru/content/article/2146599.html>

Впрочем, иногда нужно было всё же встретиться. Олег тяжело переживал невозможность прямого разговора, даже если она была связана с объективными невозможностями современного человека. В письме к А. Грицману он написал как-то: «Здесь нужно тепло разговора, разворот темы». А речь всего-то шла о почти технических, издательских делах.

Вопреки распространённому мнению о затворничестве и даже некой кабинетности Олега, его взгляды на политические и социальные вопросы (в частности, на проблему американской пенитенциарной системы) были чрезвычайно определёнными, а отношение горячим. Так же определённо было отношение к понятиям дружбы и чести. Приведу два характерных письма.

Первое – об Украине.

29 сентября 2010

Станиславу Минакову

Дорогой Станислав, спасибо за материал Елены Бувечич, пересланный в редакцию!

Он уже опубликован на сайте russkie.org, а также информационным агентством Юга России «Наша держава» (monarchism.org). Мне кажется излишней публикация его ещё и в «Сторонах света». Эмоциональный подъём авторского голоса, полагаю, находит отклик как в Малороссии, так и в России и повсюду, где падение русского языка есть трагедия. И всё-таки я никак не переживаю о судьбах Филофеева «Третьего Рима» и прочей «Русской цивилизации», о которой не понаслышке знаю. Не будучи наслышан ни о Норвежской, ни об Американской цивилизациях, впрочем. Проблема выживания русского языка создана не украинскими политиками и галицийским сбродом, а русской народной массой, покорной и благодарной. Поэтому и статья об этом нужна другая. К счастью или к сожалению, цитируемые стихи, Ваши и Чичибабина, куда значительнее статейного текста.

С уважением,
Ваш Олег Вулф.

Второе – об Америке и о дружбе: ответ на просьбу нашего художника Сергея Самсонова переслать письмо бывшему нашему приятелю и члену редколлегии. Я заменила здесь имя этого человека на N.

13 мая 2011

Серёжа, мы с N. давно не разговариваем, по его инициативе, после того, как мы с Ирой поженились. Он интересный и тонкий человек, но не смог Ире простить, что она ради меня оставила мужа, а мне – что я до сих пор умею ходить, ибо лежание в канаве, по его мнению, подобает бедному «гениальному» поэту, тем более что получается: некому помогать. Нажарить, скажем так, виртуальной картошки. Но я к нему отношусь хорошо и, может быть, даже более. Он единственный, кто написал, прочитав бессарабские марки: «если у вас есть последние штаны, продайте их и купите эту книгу». Есть такой момент, N. ненавидит США и американцев, прекрасно зная при этом историю и язык (он работал учителем английского языка в одесской школе). А мы с Ирой к Америке относимся как к дому, со всеми его достоинствами и недостатками. Это наше отношение для него так ужасно, что он просто перестал с нами разговаривать. Так что переслать не смогу, прости, дружище.

И ещё одно, другому члену редколлегии – с разъяснением подзаголовка-слогана английской версии журнала *Cardinal Points*: «Dedicated to destalinization of the air».

2 июня 2011

Что до «десталинизации воздуха», то мне как отставному солдату отдельного батальона химической защиты это выражение, сформулированное Ирой, близко и понятно. Родственные слова – дегазация и дезактивация, то есть действия по обеззараживанию, очищению местности и воздушной среды, а в целом – общей среды обитания от последствий газовой атаки или ядерного удара. Боевые газы – иприт, люизит и пр., а также радиоактивное заражение местности делают огромные пространства среды обитания непригодными для жизни на многие годы, а то и на десятки и даже сотни лет. Существа, обитающие в этих средах, претерпевают генетические мутации, приобретают необычные для популяции признаки, которые могут закрепляться и приводить к вымиранию целых видов.

В случае сталинизации это – торжествующая низость, подлость, находящие выражение в крайнем презрении к проявлениям духовной жизни, душевной свободы, ко всему, что этой подлостью не является и ей противится. Унижение и уничтожение человеческого в человеке, прежде всего – естественного права на собственное достоинство, в более-менее привычных средах практикуется закрытыми институтами и системами, такими как пенитенциарная или низшая армейская среда, при полной вовлечённости институтских чинов, так называемых сержантов и старшин. Когда Ленин говорил, что и кухарка может управлять государством, имелось в виду именно это, а не унижение кухарки или государства. Ленин со всей серьёзностью заявил, что обычный, средних способностей человек способен на создание, подчинение и соподчинение иерархий, связанных общностью низших инстинктов, подручным набором лучших побуждений и потребностью выживания в социальном статусе. Именно эту идею и воплотил Сталин. Нация, государство, среда обитания, цивилизационное пространство приобрели ясные черты всеобъемлющей, тоталитарной системы, а общая нечистота побуждений, затхлость помыслов, моральное вырождение, сопутствующие торжествующему раб-

ству, идеологически обоснованы и представляются благом и достоинством.

Ваш –
Олег.

На это корреспондент Олега ответил, что вопрос о Сталине устарел, что ныне следовало бы говорить о полной *депутинизации*.

Ответ Олега:

...Спасибо за «депутинизацию». Конечно, мыслящий человек не может не оценить всей пропасти путинизации, не говоря о том, что этот современный околополитический процесс – часть бездны, из которой Россия выбирается со времён усиления Московского княжества и серии предательств времён Ивана Калиты (если помните, калта, по-тюркски, карман), обрушивших выраженную новгородскую и, в какой-то степени, псковскую тенденцию, в том числе личностного развития. Историческое время – всегда ничто, и на некоем собирательном человеческом лице трудно что-либо прочесть. Как писал Пастернак по примерно тому же поводу, «скупчили нас за леденцы». Это, разумеется, не только российская проблема, а вопрос мужества, открытости, человеческой истинности как таковой.

Сталинизация – всегда и везде, в той или иной степени, порядок вещей.

Если мы бросили вызов порядку вещей, мы идём до конца коридора. Стихотворение («тихотворение», как писал Бродский), рассказ, роман, журнал, перевод, даже, может быть, эта наша переписка.

В заключение приведу маленькое письмо «о языке» – теме для него чрезвычайно важной, ежедневной. Тексты Олега Вулфа, так или иначе связанные с подобными вопросами, будут достаточно полно представлены в готовящемся к изданию сборнике. Здесь приведём лишь его записку, написанную в ответ на такое же краткое послание Александра Вейцмана, в которой тот писал о впечатлении, произведённом на него «Бессарабскими марками», и о том, что ему интересно, как же эта проза «будет выглядеть в отражённом небе английского языка».

Спасибо, дорогой Саша! Вспомнил, как одна московская читательница написала (видимо, имея в виду мою эмиграцию), что это уже не их русский язык. На что Ира заметила, что их язык ЕЩЁ не этот.

Такая смешная вещь, люди, оказывается, мысленно переводят «Марки» на некий свой русский где-нибудь в Орехово-Борисово, где, как известно, много Борисов и мало орехов.

Жму руку.

Ваш Олег.

Апрель, 2011

Публикация и комментарии И. Машинской

ПАМЯТИ ОЛЕГА ВУЛФА

СЛАВА ПОЛИЩУК

СТРАШНО СВЕТУ БЕЗ ИМЕНИ...

Единственное состояние художника, к которому он стремится – быть в себе. Если допустить, что художник всего лишь механизм, посредством которого окружающий мир стремится быть понятым человеком, состояние это – творчество. В большей степени не конечный результат, а время создания.

Единственное состояние поэта – быть в слове.

Стремление к этому состоянию, однажды овладевшему художником, не отпускает его уже никогда. Минуты согласия с самим собой и с окружающим сменяются днями неуверенности и тревоги. Тревога и неуверенность возникают как следствие понимания ограниченности усилий дойти до только ему видимой правды. «Я глуховат. Я, Боже, слеповат».

Когда художник умирает, остаётся его голос. Голос цвета, слова, звука или движения. Теперь и навсегда «...речка Яуза валит в стенках...», как сказал об этом Олег Вулф.

НА ЯУЗЕ

Владимиру Гандельсману

*День растянут, как дым в сосуде.
Пилят вскладчину рукосуи
мордобой, как бревно на козлах.
Город к вечеру в нострах козах.*

*Здравствуй, бритва, братва и прошва!
Небу, сырному, как подошва
бога, вытертая о время,
просто так подставляют темя.*

*Ничего не поделать с тем, как
речка Яуза валит в стенках,*

*сам себя вырывает с мясом,
закапает закат себя сам.*

*Зарастает себя пожарка,
человек большой и вожатый
сигарету заложит в шапку,
а другую отдать не жалко.*

*Переростки ушли в соседи.
Мы с тобою живём на свете.
Что там, милый, за этим светом.
Ничего никого там нет там.*

Эти заметки – попытка вспомнить Олега Вулфа. Вспоминать трудно, потому что это признание и принятие ухода поэта.

Вспоминаю наши разговоры. Олег говорил медленно, останавливался и умолкал. Молчание длилось долго, но желания заполнить его не было. Пустота наполнялась смыслом так же, как и звучащая речь. Олег жил тогда в нескольких улицах от меня. Мы выходили из кофейни, и, пройдя эти несколько улиц по освещённой 18-ой, Олег сворачивал за угол.

*День растянут, как дым в сосуде.
Пилят складчину рукосуи
мордобой, как бревно на козлах.
Город к вечеру в нострах козах.*

Олег читал и пел эту первую строфу растянуто. Длинное, сосущее тоской слово *со - су - д* падало в глухое *д* дня. Дальше чередование *пил - ил - уи -* звуки, пилящие день, выпивающие время.

Одна из первых встреч. Олег бредёт в лёгкой куртке по 18-ой. То ли дождь, то ли снег, поздняя осень.

Олег был лишён банальности. С ним было невозможно говорить на «общие» темы. Разговор умирал. Он начинал всегда с самого главного для меня. Лишена банальности и поэзия Олега. Банальность помогает художнику. Более того, слушатель, зритель часто ждёт банальности. Художнику трудно удерживаться там, куда его заводят язык, пятно, линия, материал. Да и слушателю-зрителю тяжело следовать за художником. Никог-

да Олег не облегчал ни свою работу, ни работу читателя. Его поэзия безжалостна. Безжалостна как к себе, так и к читателю. Он не оставляет читателю возможности на удобный вход в стихотворение, спокойное пребывание в нём. Одновременно с этим Олег предельно доверяет читателю. Эта доверительность сродни отношению к читателю Ахматовой: «Молюсь оконному лучу...» Или Бродского: «Я хотел бы жить, Фортунатус...»

С кем можно говорить о молитве, как не с самым близким человеком. И Фортунатус – каждый, кто произносит эти слова. Безжалостность в сочетании с высокой искренностью совершают, быть может, самую главную работу художника – приближают читателя к поэту, никогда не наоборот.

«*На Яузе*» начинается сразу напряжённо. Музыкальность поэзии Вулфа не ведёт к упрощению формы, занижению смысла и, как итог, к лёгкости слушания. Песенность «*На Яузе*» в самой природе трёхстопного анапеста, в просодии, в режущей *p* по всей строке, в исповедальности, в приближении высокого и низкого...

*...Небу, сырному, как подошва
бога, вытертая о время...*

...в разгоне, взятом словом, звуком – и подхваченным гулом валящей реки.

*Здравствуй, бритва, братва и прошва!
Небу, сырному, как подошва
бога, вытертая о время,
просто так подставляют темя.*

И дальше совершенно ясно проступает имя Стеньки (Разина?). Да и вся строфа распахнута, разгульна, рвётся из давящих стенок.

*Ничего не поделать с тем, как
речка Яуза валит в стенках,
сам себя вырывает с мясом,
закатает закат себя сам.*

И – спад. Как после хриплого монолога, на износ выматывающей работы – опуститься на землю, вслушаться в наступившую тишину. Как перед дорогой, неизвестностью – осознать

бессмысленность приготовлений. Когда, кроме как сигареты за ухо, брать нечего. В 1983 году моего армейского приятеля увозили в тюрьму, неважно за что, за мелочь, дрянь. Он попросил у меня сигарету. Я протянул пачку, но он взял только одну, заложил за ворот ушанки и сказал, что остальное всё равно отнимут.

*Зарастает себя пожарка,
человек большой и вожатый
сигарету заложит в шапку,
а другую отдать не жалко.*

В последней строфе, в трёх последних строчках, происходит сдвиг, выводящий всё стихотворение на совершенно иной уровень.

Олег Вулф – бесстрашный поэт. Бесстрашие художника не только в работе над формой и темой. Это дело техники, и здесь Олег безупречен. Ирина Машинская, подробно разбирая стихотворение Вулфа «Страшно свету без имени...», пишет об «отражении в самом себе». У Олега строка часто прерывается, меняя тему, время, продолжаясь через несколько слов, усложняя звучание.

Бесстрашие художника – в следовании своим сомнениям.

Последние три строки по своей конструкции (вопрос-ответ) максимально приближаются к библейским стихам, к Плачу Иеремии. Только в искусстве, в силу ускорения, возникающего в результате работы со звуком, словом, цветом, возможно в сжатом отрезке времени пройти путь от попытки задать вопрос Творцу и требовательного ожидания ответа до мужества осознать тщету своих действий перед великим Молчанием. Мы говорили об этом. Как всякому настоящему художнику, а других не бывает, другие – «это другая профессия» (Олег любил эти слова И.А. Бродского), Вулфу было тесно в рамках любой конфессии. Всякая законченность, статичность была чужда Олегу. Конечный результат – для читателя. Всё самое главное происходит до появления стихотворения. Главное – это то, что приводит к появлению искусства. И путь этот художник проходит в одиночестве.

*Мы с тобою живём на свете.
Что там, милый, за этим светом.
Ничего никого там нет там.*

Одиночество, неуверенность, тревога – это плата поэта за право произнести такие строки. За Дар назвать всё существующее. Это необходимо не только поэту, но и всему существующему. Потому что «Страшно свету без имени...».

Поэзия Олега Вулфа – продолжение культуры, её бессмертие. Когда поэт говорит с Богом, культура, точнее её созидание, проступает сквозь время, соединяя прошедшее с настоящим, уходя в будущее.

21 июля – 22 августа 2011

ЗОЯ МЕЖИРОВА

НЕИСКАЖЁННЫЙ ЛУЧ

Памяти Олега Вулфа

Эта недолгая встреча, случайная и мимолётная, как промелькнувший ночной мотылёк, сгорела в пространствах города. Остался пепел пыльцы, воспоминание.

Крутая лестница на второй этаж. Магазин русской книги. Конец мая 2011 года. Манхэттен. Вечер Ирины Машинской.

Из присутствующих, нечастая гостья Нью-Йорка, я почти никого не знала в лицо. Промелькнул галантно-учтивый адвокат Борис Палант, проплыло мимо лицо невероятной древнеегипетской лепки И. Гинзбург-Журбиной.

К И. Машинской после вечера было не пробиться, и потому я долго стояла в стороне. Мы не были знакомы, хоть и слышали друг о друге, и я сама «назначила» эту встречу, увидев на сайте Интернета объявление о её лекции. Наконец, улучив мгновение, мне удалось протиснуться, представиться. Обменялись сборниками стихов. Но И. Машинскую разрывали, а нам хотелось поговорить.

Я пригласила её посидеть где-то неподалеку в кафе.

В этот миг перед нами появилась фигура высокого незнакомого мне человека.

Появление его, а точнее возникновение как бы ниоткуда, среди шума толкущихся, хаотически, беспорядочно движущихся людей, было похоже на выброс энергии из пространства иного параллельного мира. Прежде всего, он отличался от всех своим ритмом. Не быстрым и не слишком медленным, а каким-то наполненно-плавным. Он возник, как мягкое неторопливо наплывшее облако, выскользнувшее из закрытой, невидимой нами плоскости, из его воздушного пространства, чьё существование и доказал своим приходом. Но эта мягкая и одновременно плотная, казалось, совершенного баланса энергия была реальным человеком с интеллигентным несуетным лицом отважного морского пирата, если такое немыслимое словосочетание возможно. Мы говорили совсем недолго на почти ничего не значащие темы. Но даже в эти короткие минуты меня сразу же поразили его – такие нечастые в нашей жиз-

ни – обходительность, искренняя любезность и внимательная чуткость.

Это был Олег Вулф.

Ирина сказала ему, что я приглашаю их выпить неподалеку бокал вина. Но было уже слишком поздно, и вспомнившиеся неотложные дела не дали им осуществить мой замысел. Потом, уже попрощавшись, я видела, как в чёрном воздухе ночного Нью-Йорка сорвалась с места и исчезла в пролётах улиц их стоявшая у подъезда машина.

*Ведь сказано же не тобой и мной,
что есть небесный суд и суд земной,
а этим мраком, всей его толпою,
равнины непроглядную толпой,
которою за мною и тобой
завалят след, за мною и тобою.*

Он физически остро ощущал и передал уход, исчезновение.

В другой раз... – сказали мы. На этом и расстались.

Так закончилась эта встреча.

А два месяца спустя, 28 июля, передо мной на компьютере был имейл:

Олег Вулф (1954 – 2011)

Поэт и главный редактор литературного проекта «Стороны света» (Cardinal Points, www.stosvet.net)

Я не могла этого понять. Потрясение было ни с чем не сравнимо.

Когда уходит поэт, бросаешься к его стихам. Возникает особая потребность прильнуть к душе, которая в них отразилась, окунуться в её сгусток, посылающий сквозь строки преломлённые, но неискажённые лучи своих энергий.

К бесприютной душе.

Молча глядеть в просвет, / лампочку притушив.

Он шёл от образа, замешанного на ритме.

Падал в глубь своего собственного мироздания и, почти в беспамятстве, видел мир острее, иначе, по-своему конструи-

руя пространство, движущееся в стихах. Взаимопроникновение созерцаемого и невидимого, переливающихся друг в друга.

И стадо проходит, хрустя и стреляя звёздами по селу.

Он жил в реальности Фантазий. В клубке Дней и Видений.

Где всегда тревожащая нота мощно подступающего, грозного –

*вот оно пылит, пылает,
впереди ли, позади.*

Это состояние ритмически-музыкально выражено, и потому его прочная достоверность подлинна.

Пространство разворочено, свет щерится и кишит, звуки обретают движение.

*Серочь, обморочь. Запах вод.
Шорох звуков и их поход
Дальше в проход*

*кишел фонарным светом поворот
булыжной мостовой*

Щерится узкий свет.

Вот в какие пределы попала душа, которая светла и чиста –

*Ничего на свете нету
Кроме неба и души.*

Но небо – «подтекающая звёздами клеть», и потому и здесь, под ним, бесприютно.

«Предместья небес» – всё, что окружает, и сами небеса – совсем не из области стройного баланса для души Олега Вулфа, которая именно его и жаждет.

Разлад и столкновение. Трудные пласты воздуха. Часто неудобные и слишком плотные. Прохождение сквозь препятствия, высекающее свет.

*О, какое же одиночество – понимать себя...
и добывать на небесной пашне пригоршню звёзд...*

Падение в своё Одиночество ошеломляюще болезненно и благодатно. И всё-таки *«от звезды светло. И ты стоишь, в себе её затаив»*. Но это уже не о себе.

«Странники и пришельцы есмы на земли и, по глаголу апостола, не имамы зде пребывающего града...» – снова наплывает издалека.

Прощай, Олег... До встречи в граде ином.

Мы будем помнить тебя. И ты нас, если сможешь, не забывай.

Март 2012, штат Вашингтон

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

СВОЯ ПОХОДКА

Есть люди, которые узнаваемы даже со спины. По походке.

Помните народное: «Я милого узнаю по походке»?

У всего, что писал Олег Вулф – прозу или стихи, – была своя походка.

Слова тоже ходят по-разному. У Пушкина ходили воздушно-летающе. У Мандельштама – бережно, словно боялись раздавить что-то живое. У Маяковского – полной ступнищей, даже в асфальте оставляя вмятины.

У Вулфа походка была ищущая, с зависанием в воздухе ноги, ищущей – место ступить туда, куда ещё никто не ступал. И это иногда замечательно получалось.

*А я на шёпот эти дворы перетру,
прикушу эти старые города, подержу во рту.*

или:

я молчу / в / городок коленей твоих

Мне кажется, что здесь предлог «в» – случайная потеря, а может быть, тоже «походка»?

А вот ещё: «словами машет немота».

Иногда это «ступательство» в то, где ещё нет ничьих следов, идёт уже строфами:

*Я тебя в трамвае еду,
ты рукою помашаи.
Ничего на свете нету,
кроме неба и души.*

Или уже с артистизмом овладения новой поэтикой, уже независимо развивающей раннего Пастернака, от чего, к счастью или несчастью, он отказался сам в конце жизни. Но тут это впервые подхвачено и уже почти освоено:

*Ты выгороди этот город,
и он тебя поставит у ворот,
порывом ветра у ворот,
куда вагона поворот.*

Такое освоение – тоже открытие. Это всё равно что вернуться в давным-давно заброшенную шахту и доказать, что там ещё много что ждёт не дожждётся разработки.

А иногда Вулф даже выдерживает размер полного стихотворения, как в посвящённом непонятому великому пианисту Александру Избицеру, где повторяется имя «дерсу узала», может быть, в произношении Акиро Куросавы.

*Полустанок в отставке. В остатке добра или зла.
Железнодорожность узла.
На морозе остаточный запах разъезженной стали.
Привокзальный кабак,
где любой из проезжих дерсу узала.*

Иногда Вулф рискованно прибегает внутри своего почти островного существования к полураскрытию своих корней, ибо ни одна, даже экспериментальная, самостоятельность не бывает на пустом месте – например:

*Сочувствие тебе, о гостевик,
и сострадание. Выстрел из ружья
сравнил когда-то с лысыми мужьями,
сидящими за праздничным столом...*

...ни праздника, ни классика, ни ружей.

Почему это цитирование рискованно? Да потому что сегодня поэтическая безграмотность настолько сокрушительна даже у пишущих так называемые стихи, что иногда это наводит на мысль об умирании жанра, если знатоки становятся последними могиканами. Помню, ещё лет сорок тому назад Вознесенский доказал это, прочитав пастернаковский «Август» как своё последнее стихотворение, и никто из присутствующих не узнал, кто же на самом деле автор, включая и сидевших в президиуме поэтов. Но сейчас меня привело в ужас, как, будучи в Литинституте и разговаривая со студентами-поэтами, я вынужден

был, цитируя им что-то, что они должны были впитать с материнским молоком, указывать источники. Сколько человек, сейчас говорящих по-русски, смогут угадать советского классика, на которого намекнул Вулф и какое его стихотворение он имел в виду? Думаю, на сто пятьдесят миллионов населения РФ, да и за границей, больше тыщи угадчиков не найдётся.

Одно из стихотворений Вулфа звучит, как заклинание:

*Страшно свету без имени
полюхать в полынью.
Ты любить полюби меня,
я тебя полюблю.*

Полынья непонимания с полуслова, нечувствования ни друг друга, ни себя, ни истории, ни литературы с тех пор разрослась в океанище. Существует не только разрыв между интеллигенцией и так называемым народом, но и разрыв внутри интеллигенции – на гармонически развитую элиту и на узких научных или технических специалистов, многие из которых не сдали бы экзаменов не только по иностранной, но и по отечественной литературе. Словом, наша профессия – поэзия – находится в опасном состоянии и почти уже перестала быть профессией, на которую можно существовать. Огромное количество потенциальных читателей и радиоэфир попсой, которая сама печёт свои песни, как базарные пирожки с начинкой, отравляющей вкус к поэзии. Эту украденную аудиторию уже не вернуть – она безнадежна. И не надо. Но сейчас нужна новая мощная плеяда поэтов, которая бы сама создала новую плеяду своих читателей. Прекрасным читателем оказался художник Самсонов, блистательно проиллюстрировавший книгу стихов и прозы Вулфа «Весной мы увидим Соснова» и подаривший ей такую грациозную и мудрую обложку. Надеюсь, не ошибусь, предсказывая, что книга станет, если уже не стала, раритетом.

Проза Вулфа – это, в сущности, тоже поэзия, и, чтобы её понять, надо обладать тонким слухом, улавливающим самые многозначные нюансы его обаятельнейшей притчевости.

«Чаша возможностей столь полно выскрёбывалась предыдущими поколениями, что здесь начинали жить с чистого листа, едва успев записать на нём: ничего плохого в том, что не является прямым злом» (стр. 10). Какая заманчивая дорога для тех, кто косвенное зло даже и не подумывает считать злом. Ка-

кие богатые возможности в этой чаше для того, чтобы разбогатеть на обеднении других, да мало ли ещё для чего!

Философскую диссертацию можно писать, развивая следующую строку: «Оба допустили бестактность, сгладив неравенство жизни там, где все равны перед абсурдом». Я же позволю себе выступить оппонентом Вулфа при воображаемой защите такой диссертации и надеюсь, он мне простит: «Перед абсурдом равны все, но только те, кто не осознаёт, что сие есть абсурд». Поэтому я не включаю автора в число этих равных абсурду. Что ещё добавить? Жаль, что он не сказал многое из того, что, наверное, хотел бы сказать. отнято у настоящей поэзии агрессивно заплонившей эстрады, стадионы, телеэкран

Я надеюсь на то, что в конце концов и в поэзии никто не будет забыт и все поэты, заслуживающие этого, рано или поздно будут услышаны, в том числе и непохожий ни на кого походкой слова Олег Вулф. Но лучше, если не запоздало.

23 марта 2012

ЛИЛИЯ ПАНН

ОБ ОЛЕГЕ ВУЛФЕ

В начале была Русская Америка-2001, литературный конкурс, в жюри которого (вместе с Владимиром Гандельсманом и Соломоном Волковым) я «судила» поэзию и – отсеяла стихи Олега Вулфа. В первый раз я слышала это имя. Конкурсная подборка, к сожалению, у меня не сохранилась, и я не помню его стихов. Он потом ничего из той подборки в свои публикации не включал, и я уверена, что не из-за того, что не прошёл в наш шорт-лист. Просто он коренным образом вдруг изменился, сделал невероятный скачок. В тех конкурсных стихах была сложность ради сложности (ради конкурса?!), не оправдываемая поэтическим сюжетом. Так, в фабуле одной вещи фигурировал, если память меня не подводит, вроде бы международный самолётный рейс, итальянский актёр – не то певец какой-то, не то наркодилер в тёмных очках – и что-то такое ещё интересное...

Помню живо, что когда через год-другой на каком-то литературном вечере в «Русском самоваре» я увидела автора воочию, словно скроенного по популярной формуле «tall, dark and handsome», я подумала: «Ну да, такой и пишет про итальянских актёров на самолётах». И помню, как мне пришлось несколько удивиться, когда в нашей эмигрантской печати (в газете «НПС» и журнале «СЛОВО-WORD») я прочла цикл стихов Олега Вулфа «Переселенцы».

Существует ли связь между внешностью поэта и его поэзией, но «Переселенцы» – «железнодорожные стихи» Олега, не романтические (как это бывает часто в случае поэтизации мира железной дороги), а сухие, жёсткие, пропылённые какой-то непонятной, пугающей пылью или пеплом, – показались мне таинственным контрапунктом к этому стройному, красивому человеку. Держался он невозмутимо, был немногословен, стиль *cool*, казалось, давался ему легко, но в моих глазах имел опору в истинно оригинальной работе.

На «Переселенцы» откликнулся более чем одобрительно Гандельсман, причём не формально, а по делу. По делу стихосложения. Но у меня с этим самым стихосложением опять возникли трудности. Правда, совсем иного рода в сравнении с конкурсными стихами Олега. Я видела, чувствовала, что это на-

стоящие, талантливые, интересные стихи, но понимала их как-то приблизительно. Чтение сложной поэзии проходит через свой черновик. Беловик требовал интенсивной энергии чтения, а её поглощало что-то другое, возможно, нагруженное не столь беспощадными смыслами, которые мне открылись впоследствии в стихах Олега. И потому более близкого знакомства с ним я не искала, знала: не заслужила – стихи его прочесть адекватно не сумела. (Общение с поэтами за пределами их поэзии представляет для меня определённую проблему.) Его вечеров, разумеется, я не пропускала. Проза и эссеистика Олега были несравнимо понятнее, многое нравилось, но не с той интенсивностью, с какой я относилась к его стихам – к ним оценки нравятся / не нравится вообще не годятся. Словом, стихи оставались некой невидимой стеной между нами, о которой он, конечно, не подозревал.

Общение в рабочем порядке началось, когда Олег и Ира организовали творческое сообщество «Союз “И”», и Олег двум дюжинам литераторов сделал по подарку – сетевой странице. Без него я никогда такую штуку не завела бы (в социальных сетях я больше наблюдатель, чем игрок), но оказалось бесспорным удобством иметь большинство своих публикаций в одной сетевой корзине под рукой. И сделал он, отличный системный программист, на мой вкус, чётко и изящно.

Уверена, что не только я одна испытывала чувство неловкости и просто вины от того, что он тратил столько сил на нас, и ещё больше, когда они с Ирой стали издавать журнал «Стороны света». Олег был совершенно безотказен, отзываясь на любую прихоть автора в этом бесконечном деле выяснения отношений со своим текстом. О «СтоСвете» и «Союзе “И”» здесь рассуждать не место, но и не сказать о своей безмерной благодарности Олегу не могу.

А когда Ира и Олег связали себя своим личным «союзом и», мы стали дружить домами. Жить стало интереснее, теплее.

Олег не терял свою *coolness*, даже когда сердился. Как-то он просто разгневался, и я сначала растерялась – повод был вроде бы пустячный: мнение о фильме – но со временем оценила инцидент положительно, поскольку он приблизил меня к его стихам. А дело было так. Мне понравился, просто восхитил фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное» Николая Достая, и я порекомендовала его Олегу и Ире. Вдруг звонок от Олега: «Вы что, Лиля, считаете, что сталинский концлагерь

дан правдиво?» – смысл примерно такой, а в голосе холодное бешенство. Я своё мнение менять не нашла нужным (в центре фильма не зона, а судьба умственно отсталого мальчика за зоной), но постепенно стала понимать, что Олег пережил трагедию советской России на глубине травмы, и она – ключ к его стихам, к самой их поэтике, форме, включающей любое содержание. Так и должно быть. И язык его мало-помалу стал мне внятен. Но слов восхищения и благодарности сказать я как-то не сумела. Да и не успела. Попыталась как-то выразить своё уважение к его поэзии в статье «После», опубликованной через год после его смерти в журнале «Звезда» (№6, 2012). Да, смерть всегда дочитывает поэта.

В начале июня того лета Олег и Ира были у нас вместе с несколькими другими друзьями. Я попросила Олега захватить гитару, он ведь прекрасно пел, свои тексты и других. Помню, я попросила его попробовать спеть Ирино стихотворение «Небо, Ваше высочество, поле, Ваше величество» – просящееся быть спетым (для меня уж точно). Оказалось, он уже давно поёт эту вещь. Он спел ещё песню на свои слова, вернее, стихотворение, посвящённое Ире: «Соловей, не жаворонок, поёшь».

Когда мы прощались, Ира и Олег пригласили нас на трёхлетие их личного «союза и» на 1 августа, и мы соответственно распланировали летнее время: поездку в Россию, затем в Ванкувер на математическую конференцию Виктора с последующим выходом в горы. В горах, спускаясь в сумерках со снежного перевала, я упала и сломала руку, первый перелом в моём теле. Мы вернулись на несколько дней раньше, и дома нас ждала ужасная новость вместо встречи, которую я предвкушала всё лето с чувством особой радости участвовать в их празднике.

Портрет Олега с гитарой висит в нашем доме ровно над тем местом, где Олег пел «Небо, Ваше высочество...».

ГРИГОРИЙ СТАРИКОВСКИЙ

ОЛЕГ ВУЛФ

Однажды Олег рассказал мне об участии в экспедициях на Памир. Я тогда подумал, что одних (я был бы в их числе) гонит в горы спортивный азарт, желание убедиться в собственных силах, другие же совершают восхождение, чтобы встретиться с родной стихией, со *своими* – скалами, пропастями. Олег мне всегда казался именно таким человеком, братом скалы и пропасти, обитающим где-то там, под облаками, среди разреженного воздуха, который он пил, как сладкие бессарабские вина. Стихи Олега растут из крупиц сиюминутной пыли, превращаясь в отроги и склоны, застревая в горле горных цепей. Они как бы избегают по каменным уступам к *своим* вершинам, вторгаются в небесный створ. Мне казалось, что жизнь его была прочной, как базальтовые скалы после дождя.

Стихи Олега – редкостное сочетание силы, почти державинской (вот они где, скалы!), и ранимости, почти мандельштамовской. Я сразу запомнил *город румын и беден*. Поразило внутреннее сходство между стихами Олега и прозой Андрея Платонова – сходная глубина проникновения в стихию языка, причастность языковым пластам.

С Олегом Вулфом меня познакомил Владимир Гандельсман, когда мы готовили книжку Имона Греннана для нового переводческого издательства «Арс-Интерпрес». Одно из важнейших для меня событий, связанных непосредственно с Олегом, – издание издательством «СтоСвет» книги древнегреческого поэта Пиндара «Пифийские оды» в моих переводах.

Часто проезжаю мимо дома, в котором Олег прожил полтора-два года перед переездом в горы. Кажется, что он вот-вот выйдет на террасу покурить. Собственно, Олег на террасе во время перекуров, перерывов в работе – Олег, которого я запомнил.

* * *

памяти О. В.

на жаре живёшь, наугад горишь...
оплывает день на платформе *темь*.
человек всегда выбирает мель,
выбивает восемь из десяти,
говорит себе – *мы живём в раю*,
по субботам водит детей в кино,
уезжает куда-нибудь отдохнуть,
искупаться в море, набраться сил.

человек знает твёрдо, в какой трамвай
нужно сесть, чтоб доехать до новых дней.
он не любит, когда припускает дождь,
потому что он – пепел и соль земли.

потому что иначе он – не жилец,
оборвётся, как соловьиный свист,
как вечерний поезд, идущий из
междуреченска в соликамск.

* * *

человек ныряет в прорубь,
притворяется рекой.
человека помнит голубь,
сизый голубь городской.

человек плывёт залётный
и ногами бьёт об лёд,
потому что лёд холодный,
потому что лоб болит.

темнота течёт за ворот,
льёт свинцовую слюну.
человека мучит холод,
человек идёт ко дну.

только вздрагивает донка,
будто смерти вещество,
а другой в зелёной лунке
видит брата своего.

ВАЛЕРИЙ ХАЗИН

ГОЛОС ОЛЕГА ВУЛФА

Летом 2011 года Ирина Машинская сообщила о внезапной смерти Олега Вулфа.

Сегодня, вспоминая его, я могу лишь добавить несколько слов к тому, о чём мы говорили с Ириной некоторое время спустя.

Олег сделал так много драгоценного для русской словесности, что его волшебный голос обязательно должен встретиться с лучшими собеседниками в литературном Раю – такими, как Овидий, Джойс, Набоков, Мандельштам и многие другие.

Всё, что он делал как редактор журнала «Стороны света», как издатель и инициатор литературных проектов было наполнено любовью к слову и подлинным благородством не только в работе с многочисленными авторами, но и в тех непростых взаимоотношениях, которых требует от писателя то, что называется «современной русской литературой». Мне кажется, именно благодаря этим личным качествам Олега, благодаря его глубине и мужеству журнал, издаваемый в Нью-Йорке, довольно быстро превратился в особую точку литературного ландшафта, в место почти невиданной концентрации перво-классной русской поэзии, прозы, эссеистики. Не говоря уже о том, что к этому берегу начали постепенно «прибиваться корабли» буквально со всех сторон света, не говоря об отдельной англоязычной версии журнала, о портале авторских страниц, о разнообразных издательских проектах.

Но всё это были, как выразилась Ирина, «труды и дни» Олега – редактора, издателя, труженика.

А ведь был (и, по счастью, остаётся с нами) ещё и голос Олега Вулфа – Поэта и Прозаика – голос, по-настоящему волшебный. Даже крохотная по объёму книга «Весной мы увидим Соснова», где собраны его стихи разных лет и «Бессарабские марки», даёт представление о тончайших обертонах этого голоса, в стихии которого поэзия и проза так магически про(ис)текают друг-из-друга друг-в-друга.

Думаю, книга эта принадлежит к числу наиболее изысканных шедевров и обогащает русскую литературу точно так же, как «Школа для дураков» Соколова, «Бледное пламя» На-

бокова, «Каменный остров» Гандельсмана, опубликованный в «Сторонах света».

И, наверное, всякий раз, когда тексты Олега будут встречать понимающие читательские глаза, его голос будет возвращаться из тех мест, в которых и положено обитать голосу поэта – по крайней мере, на «время звучания» стихотворения.

К сожалению, нам так и не удалось повстречаться с Олегом лично. Наше знакомство началось как деловая переписка издателя с автором, которая, разрастаясь, незаметно превращалась в «разговоры обо всём», «философские диалоги» и заочные дружеские встречи. Если бы сегодня я всё ещё курил, можно было бы сказать, что в этой переписке переплетались бы дымы наших трубок и согревали, несмотря на разделяющие нас возраст и Океан.

Хотелось бы надеяться, что публикуемые, по просьбе Ирины Машинской, «выбранные места» из этой переписки позволят хотя бы немного приблизить звучание голоса Олега.

Поводом для возникновения этого «ответвления диалога» стал присланный Олегом фоторепортаж о презентации англоязычной версии «Сторон света» в ресторане «Русский самовар» в Нью-Йорке в октябре 2010 года. На каком-то этапе нам обоим вдруг показалась, что в обсуждении обнаружилось некое несовпадение взглядов на происходящее. Обмен ночными электронными письмами довольно быстро всё разъяснил, и несовпадение было снято. Однако, несмотря на краткость этого «эпистолярного сюжета», в нём, кажется, нельзя не расслышать то, что делает голос Олега таким глубоким и незабываемым: благородство, преданность русскому слову, достоинство человека и писателя.

Октябрь, 2011

Ответ Олега Вулфа №2. Ночь, 23 октября, около 2.30

Дорогой Валера, написал Вам предыдущее письмо под утро, после бессонной ночной работы...

...Возможно, я ошибаюсь по существу, но у меня есть чувство или видение неявной оппозиции нашему двуязычному проекту в российском литературном истеблишменте. Что-

то вроде сжатой версии общего отношения к коллаборационистам. Здесь есть доля нашей вины: мы недостаточно проясняем суть проекта. Похоже, что теми, кто не пишет по-английски, не участвует в реалиях англо-американского литературного и переводческого мира, этот смысл может быть неясен. Существуют, с другой стороны, и некие самостоятельные, имманентные трудности понимания, относящиеся к сфере общего миропонимания, к родовому русскому осознанию языка как дома, куда нет входа чужим или, скажем так, не наносят с улицы.

Что доходит сюда из России? Ничего. Разве что жёлтый журнал «Сноб» появился во всей красе своего нью-йоркского маркетинга. На западе не читают русских, просто потому, что их там нет. Переводы, особенно хорошие, немногочисленны, избирательны, а мир славистики узок и академичен. Бродский, по сути, не окно прорубил, а дырочку проковырял гвоздём. Лучших русских поэтов из живущих (навскидку: Айзенберг, Цветков, Гандельсман, может быть, Кенжеев и пр.) здесь не издают по той же причине, по которой их не публиковали в Союзе: это «другие» стихи, иной уровень и другое понимание мастерства, другая глубина мышления, колоссально другой уровень разговора. Об английских стихах Бродского тут часто отзывались пренебрежительно, но издавали, пусть и чужого. Роберт Чандлер, наш британский соредатор, переводит и издаёт Платонова, Пушкина, Гроссмана, Шаламова в лучших американских и английских издательствах. Это – огромная работа. Помнится, несколько лет назад, находясь в больнице, я случайно обнаружил переведённый Робертом рассказ Платонова в номере «Нью-Йоркера», валявшемся на полу. Но этого – очень мало, капля в море. В этой ситуации мы и расширили свой проект, поставив себе задачей если не окно прорубить, то хотя бы ещё одну дырочку проковырять гвоздём.

Посмотрим, справимся ли, хватит ли сил. О деньгах не говорю: никаких грантов, ни российских, ни американских, ни британских, нет. Есть два изданных в сети и на бумаге тома, пять томов переписки и потрясающее, самое тёплое отношение американских и английских переводчиков, писателей, поэтов, университетских профессоров, многих из которых Ирина давно знает лично. Несколько университетов в США и Англии пригласили нас с журнальными чтениями, в их числе Оксфорд. Дело движется и движет.

Надеюсь, мне удалось ответить на ваш вопрос о русской литературе, празднично перетекающей в английский.

Что до обстановки в зале, это второй этаж ресторана «Русский самовар», отведённый под поэтические и прочие чтения Романом, его хозяином. Ресторан находится в районе театрального Бродвея. Вы, возможно, знаете, что его совладельцами были Бродский и Барышников...

Всего Вам самого доброго, и привет от Ирины –

С уважением,
Ваш Олег.

Ответ Олега Вулфа №3. Утро, 23 октября (время московское)

Дорогой Валера, я не ответил на ваш второй вопрос...

...Сидящие за столом⁴ – писатели, поэты, люди, сделанные из замешанного на слове теста. Зал этот называют «комнатой Бродского». Здесь висит его портрет, тут он читал свои стихи, а иногда и стихи других поэтов.

Все эти люди, за исключением Лёши Цветкова, для которого писательство есть профессия, пишут до и после своих университетских лекций, домашней преподавательской работы, вычитки редакционных материалов, многих часов, убитых на заказные переводы или, в случае с Андреем Грицманом, проведённых рядом с умирающими людьми в медицинской клинике для раковых больных. Половина из них не говорит по-русски, поэтому всё на English.

Две трети приехали в этот зал из сравнительного или несравненного далека, чтобы по окончании чтений тут же пуститься в обратный путь, каждый своей последней лошастью. Счастливчики, живущие неподалёку, скорее всего, останутся внизу, на первом этаже, чтобы, что называется, ещё пожить. Им подадут горячительного к чему-нибудь горячему, и они пустятся в разговоры об этом «ещё пожить», а именно посвящённые

⁴ Речь идёт о фотографии, сделанной 17 октября 2010 года в нью-йоркском «Самоваре», на презентации первых двух номеров Cardinal Points, как мы тогда думали, просто однократно-го английского выпуска «Сторон света», №12 (Прим. И.М.).

политическим новостям, личным предпочтениям в той или иной области, сравнительным преимуществам водки, настоящей на клубне хрена в течении двух недель, прочим перспективам N, грядущим в течение года. Они будут говорить об всём, что не имеет отношения ни к литературе, ни к литераторам, ни к кормилице-профессии. Возможно, им будет тихо и светло.

Никому из этих людей неизвестно, доживёт ли он (или друг, товарищ и враг) до конца года, что произойдёт дальше в том случае, если да, или в ином случае...

Ваш Олег.

**Ответ В. Хазина №2. 23 октября, 13.10
(время московское)**

Дорогой Олег!

...Видит Б-г, ...никакой оппозиции и – тем более – иронии по отношению к вашему делу, к двуязычному проекту, в моих словах (и ощущениях) нет и не могло быть ни в каком случае. Не возьмусь судить обо всём «российском литературном истеблишменте»: не знаю, существует ли в нём подобная оппозиция. Не уверен, могу ли считать себя частью этого истеблишмента. Но как человек, сочиняющий русскую прозу, могу сказать, что отношусь к вашему делу, которое «движется и движет», с искренним и глубоким почтением и благодарностью – благодарностью профессиональной и личной. То, что обстоятельства места и времени разместили нас сегодня по разные стороны Океана, не имеет здесь никакого значения, поскольку я чувствую себя плывущим с вами в одной лодке...

...Всё, что Вы пишете о бытовании русских литераторов, поэтов, переводчиков в США; всё, что связано с публикацией-непубликацией лучших текстов («других стихов», требующих иного понимания мастерства, «колоссально другого уровня разговора»); вообще всё, что сопровождает реализацию подобных литературно-гуманитарных проектов, – всё это мне хорошо знакомо и понятно.

Поверьте, Олег: литератор, живущий сегодня в таком городе, как Нижний Новгород (former Gorky, – пишут в амери-

канских путеводителях, мрачновато не различая город Горький и Горки Ленинские. Фонетика и графика – увьи! – тут политически некорректно побеждают топонимику...), – живущий здесь литератор отлично знает горький вкус заброшенности и обречённости. Иногда эти ощущения совпадают с тем, что Вы описываете, до каких-то совсем уж трагифарсовых бытовых деталей...

...Через подобные ситуации (где дух так по-бахтински воспаряет над водкой и канале на заляпанных столах в каком-нибудь Доме актёра) мне приходилось проходить не раз...

Дорогой Олег! Видимо, это моё оправдание затягивается лишь потому, что мне очень хочется передать Вам (и всем, кто рядом с Вами) всю теплоту, нежность и понимание, с каким я воспринимаю всё, что вы делаете сегодня. Ваше дело (поверьте!) не может формировать никакой «сжатой версии общего отношения к коллаборационистам» (во всяком случае, с моей стороны) на том только основании, что судьба поместила ваш нынешний проект в Нью-Йорк, а некоторых из нас оставила во глубине российских имперских руин. Больше того, могу предположить, что временами ваше ощущение заброшенности должно переживаться ещё острее в силу иной языковой и культурной облачности, вас охватывающей... Короче говоря, «литературный каторжанин», заключённый посреди глухоты сегодняшней российской провинции, не может иронизировать над работой собратьев, переводчиков, проводников между русской и англоязычной литературой. И уж тем более не может этого делать такой «каторжанин», чья литературная топография прорисовывалась, помимо прочего, тропами Джойса, Фолкнера, Сэлинджера и т. д...

С уважением и благодарностью,
Ваш Валера.

Ответ Олега Вулфа №4.
Понедельник, 25 октября 2010, 04:50:06

Дорогой Валера, спасибо за тёплое, подробное письмо. Конечно, Вы ничуть меня не обидели и, надеюсь, дружески простите мне нелепость, с которой я ...навёл нас на такую мысль...

И я, и Ира всегда видели в Вас не только «писателя в силе», но и единомышленника, работягу и жестянщика⁵...

...Конечно, все мы прошли «тропами Джойса, Фолкнера, Сэлинджера и т. д.», многими, многими т. д., в каких-то окрестностях – ничего подобного, и мне остаётся лишь посыпать главу сигаретным пеплом. В доказательство прилагаю зажигалку, подаренную (похоже, с целью) Лёшей Цветковым журналу и использованную мною только что по назначению.

Конечно, я понимаю и написал Вам о том, что большие наши поэты – Айзенберг, Кенжеев, Машинская, Цветков, Гандельсман и другие – не приняты в США именно по-английски. То есть не то чтобы не прощаясь, а несколько даже не прощая. Переведи у каждого и с каждым 75 избранных стихотворений плюс эссеистику, издай разом серию, брось на полки Barnes & Noble – может случиться переворот, сопоставимый с обществу теории относительности. Многие вещи в сознании, в иерархии важных понятий могут быть разоблачены, многие найдут подтверждение, но дело даже не в этом.

Помните, было в Кишинёве издательство «Карта молдовеняскэ», где те же переведённые на русский Райт-Ковалёвой и другими Фолкнер, Томас Вулф, Хемингуэй, Сэлинджер издавались в семидесятые годы на обёрточной бумаге, «на вес» и изменили сознание двух поколений? Это даже не тропы, которыми ходили со всеми своими песнями, спичками Балабановской фабрики и армейской тушёнкой в рюкзаке, пока не раскрылась вдруг совокупность ландшафта, от которой захватило дух. Это – событие геологического масштаба, тектонический сдвиг. По моему искреннему убеждению, без этого сдвига Нижний Новгород, скорее всего, оставался бы Горьким по сей день, а империя... Как пишет тот же Цветков в нашем журнале, «the old emperor isn't necessarily evil / he only hurts us when there is no other recourse».

Это всё, конечно, «придумал Черчилль в 18-м году», и Б-г с ним.

С самой дружеской теплотой и уважением –
Ваш Олег.

⁵ Наше с Олегом частое домашнее слово, означающего ремесленника, мастера – мой прадед был жестянщик (Прим. И.М.).

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

О.В.

Мне казалось, мы раз или два случайно виделись, были мельком знакомы. Выяснилось, что нет, путаница, цепочка недоразумений, только казалось. И вместе с тем – что да: если не он со мной, то я по крайней мере был с ним знаком. Как с небесным телом, которого не видишь, но которое воздействует на общее пространство, смещая на чуть-чуть орбиты видимых. К тому же понятие «казалось» для меня всю жизнь было не менее убедительно, чем «знал». И когда мне прислали его фотографию, моё «казалось» так и предъявило себя: конечно, знал.

Смерть Олега Вулфа, при всей её трагичности и нестерпимости боли, не выглядит вырывом из системы здешних координат и исчезновением в неизвестности. Он об изгородь этой неизвестности тёрся будучи живым, нет-нет и захаживал туда. «Дождь рушится в себя» – это значит, что и то, что вне человека, и его душа – словом, всё на свете самодостаточно. В таком случае надо признать, что всё, чему он принадлежит, всё, что так дорого, – в то же время существует независимо от него, чужое ему: «спускали ночь, как хлам в бескормицу». И отдать себе ясный отчёт в том, переносимо ли ещё, что «небытия распахнутый очаг / предместьями небес / был разворочен», – или время сдаваться.

Для поэта такая ситуация осложняется тем, что он – говорит. Говорящему требуется подтверждение, что его слышат. Иначе он городской сумасшедший, что-то бормочущий себе под нос. Сам он несомненно знает, что его слова – первостепенной важности. Но как это соединить с тем, что никому нет до них дела? Слово всем весом наваливается на рычаг, переводящий рельсы, – мир всем числом без труда удерживает его. Человек, родившийся поэтом, всеми силами скрепляет в себе одно с другим. Телесный состав трещит по швам, сердце разрывается.

ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ

ПИСЬМА 2007 ГОДА

Я почти не знал Олега. Мы виделись от силы два-три раза и ни разу не поговорили – так вышло.

Но – «по делам их узнаете их». А дела были существенные и бескорыстные. Главным делом, делом жизни, конечно, были стихи и проза, но о них говорить мимоходом невозможно, их своеобразие ждёт конгениального читателя, у которого совпадут складки боли и прозрений с написанным, и именно такой читатель напишет (или уже написал) достойное его творчества эссе.

Для меня главным было создание, редактирование и вся техническая работа по поддержанию сайта журнала «Стороны света». Помимо самого журнала, Олег создал персональные страницы поэтов и прозаиков, объединив их в «Союз “И”», тот самый союз, который легко и без претензий соединяет однородное и разнородное, но всегда интересное уже тем, что живёт в одном большом Предложении, расслышать которое может только чуткая ко всему талантливому душа. Такая душа, несомненно, была у Олега, одно из свидетельств тому – его деятельный отклик на безвременную смерть замечательного поэта Льва Дановского; первый номер журнала был посвящён его памяти, и почти сразу же Олегом была создана его персональная страница. Дальнейшие выпуски сохранили высокий уровень профессионализма и вкуса, каждый может убедиться в этом, зайдя на сайт журнала.

Повторю, что с Олегом непосредственно мы почти не общались. Но у меня чудом сохранились два его письма, которые, на мой взгляд, много говорят о нём, о его отношении к жизни и смерти. Переписка возникла из-за необходимости что-то поправить на моей странице сайта. Письма написаны весной 2007 года, для связности и понимания мне придётся приложить и своё ответное письмо.

«Валерий, спасибо! Хотелось бы привезти журнал в СПб, устроить чтения, презентацию, пожать тебе руку.

Смешно и грустно, необходимо оформлять российскую визу.

Последний раз делал это в 98-м, чтобы полюбоваться церетелиевыми квазичудесами в Москве и чудовищной заброшенностью своего дома в Кривоарбатском переулке (рядом с музейным особняком архитектора Мельникова). Уезжал из Горбачёвского Союза, когда ещё лишали гражданства, презрительно отбирали паспорта, военные билеты и трудовые книжки. В Италии по телевизору смотрел, как румыны убивали Чаушеску. Чудовищные кадры, как крысу. Как итальянские партизаны застрелили беглого Муссолини. Через год убили моего бывшего соседа, который отказался продавать квартиру оптовому скупщику. Теперь смотрю прямые передачи – отпевание Ельцина.

Целая жизнь прошла.

Материал поставил на твой сайт, немного его (сайт) поправил технически, а также убрал загадочные цифры.

Твой Олег».

«Спасибо, Олег, за мгновенную реакцию. Понимаю твою оторопь при слове «виза», у меня при этом слове тоже пропадает желание куда-то двигаться. Что касается нашей жизни, которая прошла (пока!) в относительно вегетарианские времена (и то, боюсь, многие справедливо не согласятся с этим), то единственный вывод, к которому приходишь: невозможно требовать какого-то нравственного (или хотя бы вменяемого) поведения от общества и даже от других людей, такие требования применимы только к себе самому с одной профилактической целью – побыть ещё какое-то время человеком. Те ужасы, о которых ты пишешь, звенья довольно злодейской цепочки причинно-следственных связей нашей жизни, о которых так убедительно говорят буддисты, хотя утешением это не может служить ни жертвам, ни насильникам, которые так часто меняются местами. При отсутствии особых иллюзий, нам остаётся быть готовыми ко всему и разбираться с самими собой больше, чем с другими.

Твой Валерий».

«Я и сам удивляюсь, Валера, как это мы не попали под третью мировую и прочие прелести. Да и возраст уж такой, что нельзя сказать: мол, у нас всё впереди.

Конечно, надо разбираться с собой, не судите, да не судимы будете. Здесь я с тобой в одной лодке. И начинать хорошо с конца – со смерти. Научиться, как индусы, плясать на собственных похоронах. Самым серьёзным образом.

Твой Олег».

ЖЕНЯ КРЕЙН

ЩЕДРОСТЬ

Собственно, он был прав – прав был, когда не пожелал давать на своём сайте ссылку на мой новый сборник; прав, когда запретил мне обратный ход в свой журнал: стёр меня, заархивировал и стёр – словно и не было меня. Так Высшее Существо стирает тебя из общего числа существующих и даже из анналов памяти вычёркивает; и только следы, слабые следы в сети...

А может, смерть всегда права? Потому что запись уж сделана и её не изменить, не поправить, не вернуться обратно в прошлое, не договориться, не умиловить судьбу?..

Но я, конечно, обиделась, вернее – остановилась, поражённая в самое слабое моё, незащищённое ёжащееся творческое нутро. Так после грозы, уже отряхиваясь, приходя в себя после шока: что это было?

Олег, с которым я познакомилась уже только после того, как его не стало. Не стало с нами, здесь. Но осталось так много. Пожалуй, он оказался тем самым точным, но и самым болезненным литературным моим редактором – не жалевшим сил, искренне веровавшим в искусство, в талант, в работу, в правильную ноту, в стиль.

С другой стороны, стиль – это всегда поза; верно взятая нота – а потом голос уже дрожит; но держи, держи ноту, не урони стиля. И сейчас – это тоже поза. Потому что перед смертью, внезапной смертью, трагическим уходом из жизни мы бессильны. Любое творчество – это побег от смерти, игра в прятки: ты меня – либо я тебя. Может искусство победить смерть?

А для редактора важнее всего щедрость – не махнуть рукой, не пройти мимо, не пожалеть сил, слов, личного пространства и времени. Может, именно поэтому он так меня? Потому что вкладывал в то, что делал, – своё, личное, искреннее.

С ним было трудно. Я это сразу поняла. А ведь и было то всего лишь несколько электронных посланий – из Бостона в Нью-Йорк и обратно.

Ну вот, и опять я о себе, родной. А иначе возможно? Потому что слова и есть то самое, нутряное, что становится всеобщим. И получается, что его жизнь и судьба тоже уже не совсем личные, а наши, всеобщие – на просторах словесности, раста-

ценные на печатные строки, втиснутые в переплёт, сетевые, электронные вспышки ли, отрывки, памятки, следы нашего времени.

Впервые я написала Олегу по рекомендации Маргариты Меклиной в декабре 2005 года. Казалось, кто я ему? А ответ пришёл вдумчивый, глубокий. Похоже, этот человек очень серьёзно жил. А я его совсем не знала.

Он ответил: «...У нас только-только вышел первый номер, читательский круг неширок. Подобно намоленным иконам, существуют начитанные журналы, к которым наш не относится. Не пройдёт ли публикация в тунне, да ещё таким образом, что от повести впоследствии откажутся более известные издания, мотивируя отказ тем, что она уже увидела свет? И самое главное: даже и при достижении журналом известной популярности, мало кто возвращается к его начальным номерам...»

Удивительное свойство электронной переписки состоит в том, что всё сохраняется, всё можно при желании найти. И ощущение – словно продолжаешь общение с этим человеком.

«...Особенности Вашего стиля таковы, что любая неточность, выпадающая фраза может разрушить всё. Здесь надо работать так, чтобы из новеллы соломинку нельзя было вытянуть, но при этом не пересушить вещь, дать ей возможность дышать, быть свежей».

А ещё он извинялся за свои замечания.

На такую вдумчивость и щедрость отвечать можно только искренно, от души: «...Спасибо за редакторские замечания – они необходимы при этой работе, которая совершается в одиночестве; я совершенно не обижена, больше того – благодарна».

Теперь я себе говорю, что конфликта не было. Мы пересеклись в литературно-сетевом пространстве, и он подарил мне капельку той веры в себя, в своё слово, без которой нет будущего у этой кропотливой работы.

Спасибо, Олег.

РОБЕРТ ЧАНДЛЕР

ОБ ОЛЕГЕ

Я встречался с Олегом четыре раза, и каждый раз он так или иначе производил сильное впечатление.

Наша вторая встреча, в Лондоне, была несколько абсурдной. Меня удивило, что он заказал двойной эспрессо в самом начале ленча. Позднее выяснилось, что он только что бросил курить – это было непросто.

Если говорить более серьёзно, я мало знал людей, чьи слова были бы столь весомы.

Однажды вечером, в Манхэттене, на своей машине подбрасывая меня к месту, где я остановился, он рассказал, что когда-то в течение нескольких лет был нью-йоркским водителем такси и что это был ад. И добавил, что пребывание в аду имеет свою хорошую сторону: оно помогает человеку понять, что, собственно, он хочет делать в жизни. Я чувствовал, что он говорил это серьёзно и искренне, что он действительно знал адские места и усвоил те уроки.

Мне дорога его высокая оценка моего перевода «Жизни и судьбы» Гроссмана. И опять же, я знал, что он говорил искренне.⁶

Но более всего я благодарен Олегу за то, как кропотливо и с каким воображением работал он над веб-сайтом журнала *Cardinal Points*. Электронное общение часто лишает корреспондентов возможности разговора на глубоком уровне – может оказаться так, что автор «общается» с редакторами лишь посредством коротких электронных записок, в то время как ранее с ними можно было нормально познакомиться и поговорить. Но в *Cardinal Points* всё было иначе. Недавно я написал Ирине, что этот журнал похож на городскую площадь, где можно позна-

⁶ Олег часто вспоминал, как однажды в нью-йоркском госпитале нашёл в валявшемся на полу «Нью-Йоркере» рассказ Платонова в переводе Роберта Чандлера. Это событие поразило его и самим качеством перевода – он запомнил фамилию неизвестного ему переводчика, с которым через несколько лет ему предстоит не только лично познакомиться, но и стать соредакторами, – и тем, что Платонов нашёл-таки его, Олега, в Америке – месте в ту пору достаточно одиноком и горьком для него, почти в заключении. Олег рассказал об этом Роберту при первой же встрече, в нью-йоркском замке Клойстер. Об этом же упоминается в одном из писем Олега, приведённых в этом выпуске, – и Олег опять называет имя Платонова, однако, по мнению Роберта, в тот раз это, скорее всего, был уже не Платонов, а Гроссман, рассказ «В Кисловодске» (Прим. И.М.).

комиться со множеством людей, перекинуться парой слов с несколькими из них, а потом – с одним или двумя – направиться в кафе для более серьёзной беседы, которая в отдельных случаях приведёт к новому и неожиданному проекту.

Вокруг Cardinal Points всегда присутствовала аура тепла, ума и интеллигентности, и я глубоко благодарен Олегу за это.

*Февраль 2012
Лондон*

Пер. с англ. Ирины Машинской

БОРИС ДРАЛЮК

ПАМЯТИ ОЛЕГА ВУЛФА

Я познакомился с Олегом в 2011 году в Нью-Йорке холодной февральской ночью, и хотя я не мог предвидеть, до какой степени наши пути переплетутся в течение следующих пяти месяцев, я сразу понял, что столкнулся с невероятно тёплым, искренним человеком – и что в любом случае я не хочу терять с ним связь. В тот вечер мы праздновали выход нового сборника Полины Барсковой, частично в моём переводе. Ирина Машинская любезно согласилась принять участие в чтении, и Олег сопровождал её, оказывая поддержку, как всегда. Я часто задумываюсь об этой своей удаче – об этом ряде, казалось бы, незначительных совпадений, которые привели нас всех в этот уютный книжный магазин в Манхэттене.

После чтения Олег и Ирина одарили меня замечательными стихами (её) и совершенно уникальными «Бессарабскими марками» (его). Через несколько дней, отметив завершение нескольких длительных проектов, я возвращался домой в Лос-Анджелес.

В самолёте я открыл тонкий, внешне скромный «клясер» и вступил в яркий, щедрый мир Сандулян. Все признаки истощения мгновенно исчезли на высоте в двенадцать километров над землёй. Я был совершенно очарован голосом и воображением этого прекрасного прозаика и сразу захотел перевести «Марки» на английский язык, хотя бы для того только, чтобы поделиться ими с теми моими друзьями, которым не посчастливилось прочесть их в оригинале.

Вскоре я закончил перевод первой «марки» и отправил его Олегу. Полученное в ответ письмо демонстрировало доброту и пронизательность этого человека. Я продолжал переводить «Марки», мы обменивались письмами, часто с участием Ирины, и становились ближе с каждым посланием. Пятого мая мы достигли нашей цели: «Марки» существовали на двух языках. Олег написал мне письмо (может быть, сто первое, может быть, сто второе), поздравляя меня и объявляя, что он только что налил себе стакан вина. Я сделал то же самое. В Нью-Йорке было два часа ночи, а в Лос-Анджелесе ещё одиннадцать часов вечера.

«Закончились три месяца чудесной работы, – написал Олег, – по которым мы с Ирой будем скучать». Почти ровно год прошёл со дня нашей встречи – и я скучаю.

13 февраля 2012

СИБЕЛАН ФОРРЕСТЕР

ДВА ДНЯ В ПЕНСИЛЬВАНИИ

Впервые я увидела Олега Вулфа в 2009 году на конференции AATSEEL в Филадельфии. Он казался тише других поэтов в группе и не произвёл на меня сильного впечатления. Второй раз мы встретились в Нью-Йорке в октябре 2010-го, на презентации первых двух выпусков Cardinal Points. Тогда он, если не читал сам, был чрезвычайно занят тем, как проходит вечер, стараясь, чтобы последовательность чтений подчёркивала особенности стиля каждого выступающего, а то и позволила тому или другому участнику ускользнуть пораньше.

Весной 2011 года он, вместе с несколькими другими авторами Cardinal Points (Ириной Машинской, Крэггом Чури, Джей Си Тодд), посетил Суортмор колледж. Погода в тот вечер была чудовищной, и тем прекраснее было чтение. Присутствие Олега было негромким, но значительным. Он был с Ирой, с которой, благодаря её сербской переводчице Драгине Рамадански, я уже была знакома раньше. Потом, перед их отъездом домой, мы посидели в китайском рестораничке.

Немного лучше я узнала Олега в течение двух дней, 18 и 19 июля 2011 года, когда я гостила у них с Ирой в их пенсильванском доме. Уже путь туда оказался памятным – как будто я готовила себя к какому-то всеобъемлющему опыту: повороты дорог, по которым я раньше никогда не ездила, но которые выбрала в тот раз в надежде на красивые виды; яркий, немного пыльный солнечный свет; бензоколонка прямо у дороги, у перекрёстка, там, где движение подчинено ритму светофора; пенсионеры, превратившие столики кафе внутри супермаркета в утренный рай кофе и разговоров.

В те дни в их доме среди деревьев мы с Ирой работали над переводами из Софии Парнок, и Олег присутствовал где-то на периферии моего сознания: занимался в своём кабинете в глубине дома – кабинет этот казался норой, упрятанной под лестницей, ведущей наверх, хотя на самом-то деле он был и не под лестницей. Время от времени он появлялся, чтобы рассказать Ире о только что полученном письме, размяться физически и умственно – и снова назад, к компьютеру, на котором он в последнее время работал над новым дизайном сайта, становившегося всё более красивым и удобным.

Думая об этом посещении, я вспоминаю свою давнюю поездку в Переделкино однажды летом, во времена моего студенчества в Москве. Благодаря случайной цепочке встреч я оказалась на даче Чуковского и познакомилась с Семёном Липкиным и Инной Лиснянской, о которых я до того не знала. Они произвели на меня глубокое впечатление, что неудивительно теперь, когда я больше знакома с их творческими судьбами. В тот вечер я уехала с осознанием их доброты к молодому человеку, щедрости внимания старшего к младшему, который когда-нибудь, может быть, и дорастёт; с постоянным ощущением их полноценного присутствия и при этом – постоянной же, едва заметной отвлечённости на свои глубинные переживания и опыт.

Я чувствовала что-то похожее в присутствии Олега, хотя на этот раз я по возрасту была ближе к писателю и лучше понимала его значимость. Пока мы трое болтали за едой, он рассказывал о журнальных делах, порой бросая горькие замечания по поводу тех или иных течений в литературном мире, влияющих на его работу с *Cardinal Points* и его старшим братом, журналом «Стороны света». Пока мы с Ирой разговаривали, или тянули ледяной компот, или ездили к озеру искупаться, он выходил на террасу, набивал трубку табаком, потом спускался по ступенькам во двор – покурить, так, чтоб дым нас не беспокоил. Лишь доносящийся до нас лёгкий приятный дымок да быстрый, глубокий, всеобъемлющий взгляд человека с весомыми мыслями и богатой, сложной внутренней жизнью.

На второй день, после полудня, мы пошли прогуляться вокруг озера, лежащего на краю поместья, которому когда-то принадлежала земля нынешнего посёлка. Олег знал множество интересных фактов об истории этих мест, но разговор о литературе просачивался сквозь все остальные. Мы дошли до тупика, повернули по тропинке назад к озеру – и там я сделала несколько снимков моих хозяев. Как странно возвращаться к этому моменту и осознавать, что это были последние фотографии в жизни Олега. Я помню, как мы брели к парковке, все потные от невозможной жары, но теперь мне кажется, будто тогда, в июле, шёл снег.

2012

Пер. с англ. И. Машинской

ДРАГИНЯ РАМАДАНСКИ

ВОЛКУЮЩИЙ ГОЛУБЬ

Памяти Олега Вулфа

Международный Фестиваль поэзии с 25 по 30 августа 2009 года в Нови Саде. Чтения, экскурсии, поэты из всех стран мира. Всё, впрочем, игрушечно, кроме внутреннего пространства хозяев и гостей. Всегда заглядываю, будучи переводчицей (Сента километров в ста от Нови Сада).

Свою поэтессу, Ирину Машинскую, я наконец извлекла наружу (на фотографиях она всегда скрывает своё лицо – зонтом, чёлкой, ракурсом). Невероятно тонкая чеканка лица и фигуры. При знакомстве все боялись, что радушием разобьют её, как веточку коралла. То же самое про стихи – их потрясающая музыкальность подчёркивает тугоухость неавторского прочтения.

А рукопись Олега завораживает сразу. На редкость невысокомерная любовь к малым мира сего. Влюблённость в чудачковатых, эксцентричных земляков, облагороженная дистанцией и ностальгией. Прямо сопафосник Бабеля. Не без Армении Мандельштама. Это вызов переводчику: сложившаяся система любовных отношений автора со своими персонажами. Олег любил свой мир, свою облизанную рану, свою тему, своих героев. До странного расходился с большим светом.

Мы с ним приподняли было крышку самой ранней дружбы, смешливую, игривую сессию обрывистых разговорчиков *sub rosa*. (Кто-то новое блюдо сготовит, и уже небо другое. А иной заморским воздухом не надышится. Об этом вроде поспорили да и согласились. У каждого своя Шамбала.)

Чуткая к мазкам Павича, многое стану находить / терять в переводе. Слово другое прозвучит паролем: любовь к полустанкам, грязнотца жизни как она есть, хазарский пушок над верхней губой, солнечная перхоть, спичные и птичные вчерашера. Кто поймёт, если не мы, тех *выюжных* славян.

Кто это мы? Дети перекошенных сюжетов и стиловой путаницы, взрослые в обстановке петров-водкинской мебели. Право, по этой картине можно нас узнать. Для иного это Новоселье, а для нас – недотоптанный дав-

ний бал. Все эти преступления вещей, кочевания бельевых меток...

Я не могу оторваться от впечатления, что про волка – это про него. Он всегда был в огромной опасности – в него всегда можно было влюбиться.

Никогда не забуду зрелища: новисадская улица, его слегка робертмитчумская, спортивно подтянутая фигура, медленно превращающаяся в точку. Неужели он действительно уйдёт, ёкнул мой взор (сердце, экономя силы для простого тиканья, спало). Так случилось и с белым голубем, ночевавшим на моём подоконнике.

Не меняя своего намерения, он ненадолго приютился, на своём загадочном пути. А потом скрылся, повёрнутый спиной, формулой неизбежного расставания. Волкующий голубь.

Да, кишинёвцам всё можно, кудесникам таким. С пушкинской поры это синонимы. Что за свободные люди! Колдуя над сахарным конвертиком его манускрипта (восьмерик на четверике), я по крупичкам его перевожу.

2011

Сента, Сербия

Постскрипtum

Вслед за этим текстом и в связи с ним пришло ещё несколько писем, и Драгиня попросила меня присоединить эти наши уточнения к тексту воспоминаний (И.М.).

Д.Р.: Мы с Олегом и Вами, как заговорщики тираноборческого кружка, на сквозняке гостиничного холла⁷ успели поговорить о самом важном. У меня было такое ощущение, что сквозь гвалт вестибюля мы кричали друг другу в ухо самые важные свои истины, допытываясь, до непристойности откровенно. Помните? Это было *sub rosa*, хоть и на виду у всех. Я попрекала Олега Америкой, отстаивая свой пыльный мирок, провозглашая вершиной храбрости – решение остаться. Просто я не хотела в его глазах показаться трусихой, не издевавшей боль-

⁷ Гостиница в Нови Саде, где состоялась первая наша личная встреча с Драгиней.

шого мира. Он, конечно, всё это знал и был неимоверно благосклонен, шутливо принимал всю вину на себя, ни чуточки не обороняясь и не нападая.

И.М.: У Олега была замечательная манера разговаривать, беседовать без какой-либо конфронтации – всякая полемика у него выливалась в письма, а в устном разговоре энергетика всегда была другая, вот именно благосклонная, энергетика беседы – и мне это тоже было очень дорого (у меня к этому – конфронтации людей – особое, острое отношение).

Д.Р.: В эту минуту он вёл себя хозяином ситуации, а я была – истерическая гостья в его мягких и добрых лапах. Видели бы Вы иных американских русских, как огрызаются они в подобных ситуациях. Конечно, всё это были в его глазах пред-рассудки, у него была собственная шкала ценностей. Бог весть, что он тогда думал о неистовой пожилой переводчице, взявшей его за загривок так бесцеремонно. У него была испепеляюще добрая улыбка. Но ухмылкой она ни чуточки не была. Он смотрел из другой сферы, повыше. Это и есть тот загадочный восьмерик на четверике. Отнюдь не архитектурное, а душевное свойство. Кротость, милосердие. Мне хочется верить, что он питался культурой предков (малой родины), подпитывался культурой нового мира (другой родины), но паче всего насыщался из бездонных залежей русского языка.

Да, Пушкин – его эталон, кстати, как и для Павича, превосходного переводчика Онегина. Это не имеет отношение к политике, истории. Кишинёв – это не ярмарка товара и телес, это кишение⁸ души. Сладчайшей. Сахарной. Парящей. И вечной.

И.М.: Это очень точно, только «малая родина» ни в коем случае не Кишинёв – он родился в Унгенах, вырос в местечке Бельцы, а в Кишинёв уже приезжал – туда переехала по работе мама уже после отъезда Олега в Москву. К Кишинёву отношение было сложное – с мамой Олега тамошние начальники обошлись ужасно, и в конце концов она там погибла (говорит: её убили кишинёвские врачи – и подозревал неслучайность, хотя я думаю – просто дурость врачебная и судьба). Кишинёв всё-

⁸ Так в тексте письма Д.Р.

таки столица: то есть советская бюрократия, партийная, бесчеловечная. Кстати, там сейчас улица названа именем Антонеску – ни больше ни меньше. И когда мы об этом узнали, Олег не удивился. И тоже кстати: кишинёвская мафия в Нью-Йорке, как он говорил, намного жёстче русской. А Бельцы – это совсем другой мир, местечковый, полудеревенский (их домик на ул. Хотинской, вернее комната в нём, с садиком...). Школа №1 и школа №2. Бессарабские марки – оттуда – хотя на самом деле, конечно, **отовсюду**.

Я написала Драгине по поводу названия её записок и отсылки к моим стихам в конце текста, что, вообще-то, название моей книги, «Волк», – по повести в стихах в центре её, а повесть – по одному стихотворению (кстати, когда-то замечательно переведённому Драгиной на сербский), – никак не связано с Олегом, что многих это путает, из-за фамилии: все эти стихи посвящены совершенно другому человеку, другу и бывшему мужу, первые из них – за восемнадцать лет до знакомства с Олегом. Драгиня пояснила:

Д.Р.: Метафора серого волка мне по-другому очень дорога. Вы в своём стихотворении великолепно раскрыли эротическую подоплёку этого образа, он из частного стал универсальным, нарицательным. Это свойство великой лирики. Волк стал заместителем многих любовей. Сербский язык хранит мифопоэтическую начинку слов и волка именует так: *непоменик*, показывая таким образом, что нет имени для такого величественного зверя – зверя, который тихо и вдруг нас настигает. Его нельзя приманить никакими средствами, только отдачей собственного сердца. Олега я увидела в такую пору его жизни, матёрую, махровую, обаятельную, обросшую «хищным» приключенчеством, нервную из-за иных лишений. Он был ранен множеством ран (они на нём и заживали на глазах), но это усиливало его неимоверно человеческое, прямо-таки ковбойское обаяние. (Зивляк⁹, будучи мужчиной, тоже не был иммунен к Олегову милому гусарству.) Я никогда не забуду Вашего приветного и его прощального объятия, они связаны, они обрамляют нашу встречу.

⁹ Йован Зивляк, сербский поэт и эссеист, организатор Новисадского фестиваля, где мы наконец встретились с Драгиной.

ЛОТАР КУИНКЕНШТАЙН

ДОРОГОЙ ОЛЕГ...

Дорогой Олег,

Такие короткие встречи: знакомство, откуда мы, где живём, осенние небеса над корпусами Бейтс колледжа; однажды по дороге в библиотеку увидел Вашу фотографию, выставленную в окне¹⁰; однажды вечером узнал о Cardinal Points. В тот день, что мы прощались в холле Дунн Хауса, сады горели на солнце и цветные пятна листьев пачкали газоны.

Уже вернувшись в Польшу, я получил вашу с Ириной посылку и, пока читал, вспоминал свои первые подступы к русской литературе, главным образом к поэзии, главным образом в переводе Целана. Тогда я был студентом университета – в те дни, когда Вы покидали Вашу страну.

Мы двигались в противоположных направлениях, и обстоятельства наши были, как я понимаю, тоже противоположны. Восток и Запад – две Стороны Света, как меня учили в школе. Я хотел бы добавить ещё одну сторону света на той сфере слов и стихов, на которой мы повстречались: Память.

«A coincidental pleasure»,¹¹ написали Вы на подаренном мне экземпляре «Весной мы увидим Соснова».

Столько фраз ещё ждут своего начала.

Я слышу Ваш голос.

Лотар.

2012

Варшава – Берлин

Пер. с англ. И. Машинской

¹⁰ Фотографии участников фестиваля в виде коллажей были выставлены в окнах библиотеки.

¹¹ «Dear Lothar, this book is in Russian, but this is just a coincidence. It was a real coincidental pleasure to meet You in Maine» (December 4th 2010) (Прим И.М.).

СЕРГЕЙ САМСОНОВ

ЭТО НАЧАЛО...

Напиши об Олеге, о вашей юности, – попросила я Сергея. И он прислал совсем немного, только начало – о начале. Но строчки у Серёжи сбились – текстовый редактор не очень слушается его. И вдруг оказалось, что текст превратился в стихотворение. Я не меняю в нём ни формата, ни пунктуации.

И.М.

Это начало
Знакомы месяц
ничего, прижился и стал звездой наших вечеринок
со своей удивительной мюзимой¹²
Было ещё пианино замученное Саниными импровизациями а-ля Бах
но оно вконец уступило место песням О.
Всё под вино без закуски, в обнимку с девицами, имена
которых зачастую
забывались поутру

Мытарства в Москве перед экспедицией на Памир
Бюрократические препоны, связанные с пропиской (О. называл это хмурой паспортной системой) и многочисленные медицинские справки в поликлинике АН
У О. в крови нашли мочу, пришлось поделиться своей
Жили на Чухлинке в пустой однокомнатной квартире
старшего брата моего армейского
дружка Азарянца. Из всех удобств туалет, газ и большой
некрашенный стол
истоптанный малярами. Чего было в достатке, так это
старых обоев, которые свисали со стен и покрывали пол сплошным пёстрым ковром.
На этих обоях, набросанных на стол, мы ели и спали.
Когда Арарат приходил с девицей и покрывал его одеялом, мы, убивая время,
катались по кольцу метро до последней электрички

2011

¹² Гитара Олега фирмы Musima (Прим. И.М.).

ИРИНА МАШИНСКАЯ

ОЛЕГ. 2011

Меня попросили сказать несколько слов об Олеге Вулфе. Вот немного о нём и о его трудах и днях.

Наши белые утренние кофейные чашечки были сигналом к работе. Мы прикидывали рабочие планы на день, а за ужином, освещённым гранатовым светом мерло или мальбека, вдруг уходили от темы, и тогда неожиданно рождались или подхватывались родившиеся утром – идея, или новый захватывающий проект, или эссе, или смешной стишок. Олег сочинял, генерировал текст – а то и просто: язык – всегда. Сочинял, разговаривая по телефону. На крыльце, покуривая трубку и смотря на птиц. Перебрасываясь шуточками по скайпу. Отвечая на редакционную почту. В том, что касается редакционной переписки, его щедрость часто не соответствовала повседневности задачи. Мне жаль было его времени, отнятого от сочинительства, растраты этого бесценного ума. А для него это была нормальная рабочая редакторская этика. Он не понимал, как можно не ответить на письмо или ответить небрежно. Но всяко лыко было в строку. Обороты, положения перекочёвывали из писем в записные книжки (и назад), в наши разговоры, в его и нашу прозу и, преобразённые, в стихи.

Стосветский сайт – его проект, начавшийся осенью 2005 года, после аварии, навсегда подорвавшей его здоровье, с задуманного им портала авторских творческих страниц, который мы назвали «Союз “И”». Отсюда оставался всего один шаг до его идеи толстого литературного, ни от кого не зависимого журнала, куда всякий – знаменитый или совсем неизвестный – автор будет вхож, если текст того стоит. Журнала не эмигрантского – просто: русского литературного журнала. И он этот шаг сделал той же осенью, пригласив меня в соредакторы. Вклад Олега в мир русского литературного Интернета пока не оценён, но, я уверена, понятен профессионалам. Ведь весь наш стосветский проект, портал в тысячу интернет-страниц за шесть лет, сделал он один. Единственный сотрудник – живущий в Кишинёве друг юности, выдающийся книжный график Сергей Самсонов. А сайт – это не просто интересный замысел, но, как знают профессионалы, скрупулёзное, весьма утомительное исполнение, программирование, как выражался Олег, «своими ручками».

Кстати, отсюда, а не только вкусово – его ненависть к курсивам и сносам. «Какой замечательный текст! Ни одного курсива!» Ежедневная наша мечта была – подзаработать и нанять программиста в помощь Олегу.

Вначале, в 2006-м, журнал был только сетевой, но с седьмого номера стал выходить и на бумаге: серо-голубые, Серёжей оформленные книжки. А отсюда – ещё один шаг до издательства. Вначале выпускались только лишь книги авторов журнала, но вскоре круг расширился. Всё это будет продолжено: и «Стороны света», и отпочковавшийся в 2010 году самостоятельный проект – англоязычный журнал Cardinal Points, соредактируемый мной и Робертом Чандлером, а теперь и Борисом Дралоком, и издательство StoSvet Press, и переводческая премия «Компас».

Не продолжится его творчество. Я не могу поверить, что он не напишет то новое, совсем другое, огромное – не роман: полотно – которое уже складывалось, и в мерцающие ночные осколки чего мне выпало счастье вслушиваться – вглядываться, воображать. Не допишет второй том «Бессарабских марок». К «Маркам», начатым несколько лет назад и дописанным лишь весной этого года, сводилось многое в нашей жизни – разговоры, шуточки, стихи. Аллюзии к ним были ежедневны, а персонажи жили в нашем доме, и на табличке, качавшейся у въезда во двор было написано: Ильяна и Санду.

Весной 2011 года, с февраля по май, «Бессарабские марки» переводились на английский. К этому подключили и меня, и ежедневная тройная переписка с живущим в Калифорнии переводчиком, блистательным Борисом Дралоком, стала огромной частью нашей жизни. Процесс перевода и написания комментариев подталкивает автора к возвращению к исходному тексту, вглядыванию в него. Не случайно именно этой весной Олег приступил к давно задуманному и дотоле лишь намечавшемуся в записной книжке. Теперь, к концу весны, он уже писал этот текст – сложную подкладку к «Бессарабским маркам», гипертекст, глоссарий. Текст этот обещал быть вдвое больше исходного.

«Бессарабские марки» по жанру не совсем рассказы, но по длине дыхания – рассказы. Многоплановый этот и параллельный мир – земной и так или иначе построен на четвёртом измерении жизни – воспоминании. Коллекция эта («кляссер», как обозначил жанр Олег в знаменской публикации 2010 года) построена как тугая спираль, устремлённая в ещё невидимую

точку, где всё сходится или вот-вот сойдётся, как сходятся и по одному уходят в протяжённость невидимой штольни персонажи в предпоследней «марке», неслучайно названной «Тринадцать миллиардов лет со дня скорости света». Волновое, как сам свет, но и волнующееся, почти осязаемое время, и мерцание этой прозы, и ровная пульсация неостановимой мысли – мысли языка, мысли воспоминания – не дают читателю расслабиться, не дают спирали распрямиться. Мысль эта спрессована до предела, движение образа стремительно и непредсказуемо – и то же происходит в его стихах. Но темп развития образа в его стихах, такой же стремительный, как и в прозе, не совпадал с темпом написания, значительно более медленным.

Олег считал, что хороший рассказ должен быть – хотя бы и вчерне – написан за один день. От утра до темна – и всё. А в поэзии он был романист, он не мыслил стихотворением – стихи, хоть и писались как отдельные, как правило, короткие, стихотворения, шли сплошным разворачивавшимся рулоном, и одно стихотворение писалось иногда долго, годами, переделывалось, переплавлялось, росло. Только ты их узнал наизусть – глядь, а запомнившейся строчки – строфы – темы – уже нет. Отсюда и метод его – писать не просто в компьютер, но и в письмо, а то и сразу на свой сайт – в html! Прежний вариант уже не существовал, будто его и не было. Стихотворение могло быть новым, но зачин или спрятанная в нём косточка – из давнего далека, едва ли не ещё московская. Таково стихотворение «Дождь». Последние полгода оно росло и менялось, подобно тому, как растёт большая проза. По изменившемуся освещению читатель легко найдёт в нём более древние пласты и другой пейзаж. «Дождь» – предпоследнее стихотворение. Над последним он работал с конца июня – и днём 20 июля, проводив меня в мою еженедельную поездку «на материк», опять возвратился к нему. То было, впрочем, не совсем стихотворение: песня.

Олег был бесконечно и разнообразно одарён. Он был очень музыкален. Он писал ни на что не похожие песни – а как он пел, знают те, кто слышал, как он пел. Кстати, его спокойствие на людях и чуть старомодная учтивость, ценимая им в других вежливость (на литературных вечеринках возмущался: «Скажи, ну почему люди перестали представлять друг друга?») – это всё многих сбивало с толку. А на самом деле он был человеком семидесятых, всё тот же парень, игравший на бас-гитаре в городском парке. Человек из вокально-инструментального

ансамбля. И нас сопровождали повсюду и дома крутились не только обоими любимые и совпавшие Эдит Пиаф – баховские инвенции – Чет Бейкер, но и Дэвид Гилмор, и Марк Нопфлер, и Bee Gees. Я приезжаю домой после двухдневной поездки «на материк» – а там уже свистит чайник и поверх свистка гремит со всех стен простодушное: *You! are going back! to Massachussetts!..* А вот русский язык его, эпистолярная манера были совсем не джинсовые: русский его был прекрасен – это знают все, с кем он хоть однажды переписывался. В русской грамматике и стилистике этот мальчик из бессарабского местечка, где полгорода говорило на идиш, был пурист. Отстаивание гражданских прав букв «ё», словари, насмешки.

Но главное – вот: Олег был умница. Он всё схватывал мгновенно, и – какое счастье! – ему ничего не надо было объяснять дважды. Классно водил машину, классно играл в шахматы. Он самостоятельно, не посещая курсов и колледжей, научился программированию и стал не просто программистом, а программистом – вернее, системным аналитиком – блестящим. Он вообще сам всё осваивал без руководств и учебников. Единственная уступка американской культуре руководств и пособий – не желавшая работать электрическая пила, в июне выписанная по Интернету (впрочем, как выяснилось, она была просто бракованной).

Последний фильм, что мы смотрели, был документальный, о Григории Перельмане. Мы только что закончили какую-то работу и это дело отмечали. Ужин с бутылкой мальбека, на столе – раскрытый лаптоп. «Тут я тебе должен объяснить, вот только покурю», – фильм ставится на паузу, Олег выходит на крыльцо и, вернувшись, осторожно, на цыпочках, объясняет мне математическую подоплёку происходящего. Я не думаю, что это было очень глубокое понимание проблем, с которыми работали герои фильма, – в конце концов, он не был математиком, – но полагаю, что в главном это понимание было очень точным. Паузы становились всё длиннее, длиннее, и, как это часто бывало, всё перешло просто в разговор: это он сам для себя уточнял и осмысливал тему. Но это не был монолог – это была именно беседа, и в этом тоже была его одарённость и врождённая культура: он так здорово слушал и умел слышать, просто замечательно умел. Так мы в тот вечер и не досмотрели фильм.

И ещё – Олег был сосредоточен. Я не знаю больше никого, кто бы мог так долго, не сбиваясь на постороннее, посвятить

часы-дни-недели осмыслению одной книги, одной идеи – была ли это современная физика, в статьи о которой он часто погружался, литература, философия или политика. Ему можно было подбросить математическую задачку, и он её сосредоточенно, немножко ревниво и, если надо было, долго решал – и решение его было всегда необычным, ни на что не похожим. А оборотной стороной этой поразительной несовременной особенностью были его спонтанность и чудесное, мягкое чувство юмора, столь многим знакомое. Он был не просто красив им самим совершенно не ценимой красотой, которой он скорее стеснялся. Complimentов на этот счёт не любил, ибо в мужчине ценил мужественность. Он ненавидел слово и понятие джентльменства – но он им был: доброжелательный, внимательный, улыбчивый – настоящий джентльмен, только без явной или скрытой суеты, и женщины всех абсолютно возрастов это всегда чувствовали и ценили. И женщине прощалось то, что не прощалось мужчине – просто за то, что женщина.

В нём жили двое. Один – исполненный благородства и аристократической гордости, которую, не разобравшись, можно было порой принять за гордыню. Пугавший меня казавшейся чрезмерной требовательностью к людям, предъявлявшимся им гамбургским счётом. Что-то в этой нетерпимости было нормальным – как, например, нормальная брезгливость к двум вещам: злобе и лжи (ложь-лжа – отличалась от беспечного, безвредного вранья – у него была сложная система об этом, почти иерархия). Но было и менее очевидное, но порою не менее страстно выражаемое – например, насмешливое отвращение к пошлости, тривиальности и умственной лени. Тривиальное отталкивало его даже у Моцарта. Это называлось «лёгкой музыкой австрийских композиторов». И в этом тоже была – страсть.

Но был в нём и другой человек: уязвимый, но способный к бесконечному прощению, забыванию причинённой боли. Этот другой человек был навсегда потрясён Памиром и тем, открывшимся ему в семидесятых, в самой первой геофизической экспедиции, чувством мира, тем, что было только его и о чём я могла лишь догадываться. И стихи писал этот второй. Движение жизненной материи в стихах Олега, и особенно в стихах последнего времени, чей тон так светел, сродни головокружительному многомерному счастью «Бессарабских марок», в которых нет ведь ни одного не только отрицательного, но просто несимпатичного персонажа. «Марки» находятся в постоянном движе-

нии, как море, – и, как море, движутся любовью. Но и всему на свете родной, исполненный счастья и жизненной силы автор ни на минуту не забывал о недвижимой точке впереди, в том конце «нулевого хода», тоннеля, у входа в который толпятся деревья и люди. И во всех трудах своих, во всех трудах и днях, он неотрывно и напряжённо всматривался в смерть, как смотрит машинист паровоза – вперёд, туда, где сходятся параллельные.

Было солнечное, пятнистое июльское утро. Я уезжала «на материк», машина катилась вниз по дорожке, а Олег шёл за мной от крыльца, мимо уже нагретых солнцем брёвен, в своей любимой тёмно-зелёной бейсболке с надписью Just fish и, как всегда, долго-долго махал мне вслед своим, лишь ему присущим, очень широким плавным жестом – так машут, стоя на причале, в его стихотворении. Махал, пока я не скрылась за поворотом, а он не пропал среди деревьев. Уже с утра день обещал быть необыкновенно жарким – даже у нас тут, в горах, в лесу. И день этот был полон. Сложенные во дворе стволы недавней бурей поваленных соседских дубов: их надо было напилить на зиму. Обсуждение с художником – через океан – только что присланного файла с обложкой новой книги издательства. Наши телефонные разговоры, пока я гнала по шоссе на восток и всё никак не могла обогнать бесконечную похоронную процессию – никогда ни до, ни после не видела я никаких похоронных процессий на этом интерстейте... и потом ещё и ещё разговоры того дня: обсуждение нашей будущей сентябрьской поездки на Украину и в Кишинёв и накапливающиеся за день новости – о полученном из типографии письме или о только что навестившей его паре здорово подросших за лето оленей. Работа над новой главной страницей сайта – результат его и Серёжи труда в тот месяц. Варка кофе в гнутой кастрюльке. Работа над стихотворением. На всё это не хватило б жизни. А осталось ему – шестнадцать часов.

Опубликовано в журнале «Интерпоэзия», 2011, №2

ЛИЛИЯ БЕЛИНЬКАЯ

СЛОВО ОБ ОЛЕГЕ.

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ирине Машинской

*Погасят свет за нами, вот тогда
мы станем частью правды...
Олег Вулф*

Почему противостояние? Ведь это же конфронтация! Нет, конечно же, совсем наоборот. Так в астрономии называется кратчайшее расстояние между Землёй и небесными телами, которое вдруг возникает при их вечном и бесконечном движении, кружении, раскручивании вокруг повелительных центров.

Вот и людские судьбы вдруг таинственным образом соприкасаются своими орбитами, а потом разлетаются в бесконечную даль...

Об Олеге Вулфе я узнала чуть более года тому назад – в августе 2010 года. Мы с ним никогда не встречались, знакомство запечатлелось лишь в посланиях по электронной почте, да ещё я один раз слышала его голос по скайпу, когда посылала ему фотографии.

Так почему же я чувствую себя осиротевшей? И это сиротливое чувство не проходит, и сердце сжимается при мысли, что его почему-то уже нет на этой земле...

13.07.10

Мария Игнатьева: Дорогие Лилия Наумовна, Ирина и Олег!

Этим письмом я связываю редакторов «Сторон света» и автора воспоминаний о Каверине. Я, как вы все знаете, совершенно к услугам любого из вас.

Сердечно,
Маша.

13.07.10

Дорогая тётя Лиля, пересылаю Вам вопросы и пожелания, возникшие у редактора. Ответьте, пожалуйста, ему самому. Его зовут Олег. Обнимаю Вас,
Маша.

Дальше шло письмо Олега Маше:

Версия полная сокращений не требует, там всё ясно и последовательно. Хорошо бы дать имена участников второго, а то и первого ряда, не говоря уж об именах фотографов (если неизвестны, обозначить как неизвестных). Причём справа направо и т. п.

Или вот такое, требующее уточнений: «Умер В.А. в ночь на 2 мая от сердечного приступа в Кардиоцентре». Где находится Кардиоцентр (с большой буквы), это город или больница?

Или письмо, где речь, кроме прочего, о приёме у митрополита Алексия (будущего патриарха), а также о монахе Досифее. Сопровождается фотографией человека в клобуке. Кто это, Алексей или Досифей?

Начинаются воспоминания так: «Сразу же хочу предупредить, мои записки не понравились двум женщинам, которых я очень люблю и чьё мнение ценю чрезвычайно. Обе они, независимо друг от друга, пришли к выводу, что в воспоминаниях слишком много автора».

Вопрос: причём тут две неназванные особы? И в чём значение того, что им что-то не понравилось?

Ещё о фотографиях: мы, конечно, ещё и сетевой журнал, и места у нас для фото хватит. Но хватит его и в бумажной версии. Для того чтобы дать фотографии на бумаге, нужны фотографические файлы tiff или tif, отсканированные в хорошем разрешении, не менее 300 точек на дюйм. Это сделать – элементарно в домашних условиях, если есть сканер.

Фотографии в любом случае, для сети или нет, надо прислать отдельно от текста. А текст – отдельно от фотографий.

Спокойная уверенность и независимость суждений Олега Вулфа вызвали у меня глубокое уважение, а также страх

нерадивой ученицы по отношению к строгому учителю.

17.07.10

Дорогие Ирина и Олег!

Вы мне дороги уже тем, что вы друзья Маши. Обращаюсь к вам без отчуждения, так как мне их, во-первых, не сообщили, а во-вторых, с высоты своего предпреклонного возраста я могу, вероятно, к вам так обратиться. Итак, конечно же, известие о возможности опубликования моих записок совершенно потрясающее. Не из-за меня самой – я спокойно жила двадцать лет с момента их написания. Просто хочется хоть ненадолго извлечь Вениамина Александровича из окостенения хрестоматийности – пусть кто-то улыбнётся, прочитав о том, каким живым, весёлым, энергичным и благородным был он и в старости.

Простите, что отвечаю с опозданием. Я болела.

Фотографии у меня подписаны: кто есть кто, кем снято и когда, кроме разве что нашей фотографии с В.А. в Дубулты, снятой пляжным фотографом и подаренной мне фотографии о. Досифея (монах в клобуке). Не думаю, что нужно при этом публиковать фотографию митрополита Алексия, так как внешность Алексия Второго как патриарха широко известна. Теперь о кардиоцентре. Я по наивности думала, что он у нас один, потому и написала с большой буквы, а в Интернете их обнаружила великое множество. Если нужно, могу узнать, какой это был кардиоцентр, хотя самой мне кажется, что это неважно.

Теперь о двух неназванных особах. Тётки эти непростые. Обе они упомянуты в моих записках – это Мариэтта Омаровна Чудакова и Ольга Евгеньевна Мартыненко. Писатель и журналист – как же мне было им не поверить? Кстати, я их по-прежнему люблю и уважаю, независимо от их вердикта. А вступление это я написала тогда, когда мне позвонили из «Знамени» и попросили принести текст. Узнали о нём совершенно случайно. Будучи абсолютно уверена, что он им не подойдёт, и написала предупреждение, чтобы особо не заморачивались. Два года спустя я попросила вернуть мне текст, так как это был отпечатанный на машинке оригинал рукописи (я и дала его с условием возврата).

Надеюсь, не утомила вас.

С уважением,

Лилия Наумовна.

19.08.10

Дорогая Лилия Наумовна.

Спасибо за чудесное письмо. Пересылаю его на наш с Олегом общий редакционный адрес.

Олег ответит по сути, а пока благодарю Вас за этот редкий материал и очень надеюсь, что самочувствие Ваше вернулось в норму. Радости Вам и здоровья.

Ваша Ирина.

20.08.10

Дорогая Ирочка! Спасибо Вам, что Вы почувствовали, что у меня нет двойного дна. Так что «добавьте меня в друзья», и у Вас будет на одного искреннего друга больше. А мне о Вас много сказало одно лишь слово, которое Вы употребили в письме Маше о Вашей и её связи через семью Зильберов и Кавериных вкругаря. Мне очень близка эта лексика.

С уважением и любовью,

Л.Н.

20.08.10

Дорогая Лилия Наумовна! Мы с Вами уже связаны. Могу я послать Вам в подарок мою книгу?

И.М.

Ирочка дорогая! Почту за честь получить Вашу книгу!.. Я вспомнила, что ещё в прошлом году с интересом и даже как-то трепетно ожидала встречи с Вами на поэтическом вечере. А ведь я знала только Ваши имя и фамилию. Предчувствие, наверное! Я уже на сайте Стосвета – прекрасное и светлое название сайта – присмотрела себе Ваши и Олега произведения, но прочитать ещё не успела. Вопрос на засыпку – смею ли я одарить Вас моей книжкой? Правда, это специальный «Сербско-русский, русско-сербский словарь-справочник межъязыковых омонимов», но он очень забавный и способен поднять настроение... Открываете страницу со словом ВРЕДНОСТ с переводом на русский – ценность, стоимость, а уж наша ВРЕДНОСТЬ понятна и без перевода на сербский!

Всегда Ваша Л.Н.

21.08.10

Дорогая Лилия Наумовна!

Мои родители страшно увлекались всем польским –

кино в первую очередь, но не только, и с детства я знала про курьёз с польским словом *uroda* (красота).

Но не поэтому или из какого-то общего филологического (с упором на фило-) любопытства, нередкого в сочинителе, но главным образом потому, что волей судьбы (её случайных неслучайностей) я оказалась втянутой в поле сербской словесности, я так благодарна за подарок и при этом нахально принимаю совпадение как должное. Вы, конечно, знаете от Маши о нашей общей корреспондентке – поразительной переводчице, вообще: поразительной Драгине Рамадански. Уже четыре года, если не больше, благодаря Драгине, *сербское* звучит как что-то из *моей* жизни, где-то совсем рядом с осью её. И у меня даже есть маленький сербско-английский словарь: я его купила, когда Д. начала переводить мои стихи (такая я недоверчивая зануда). А прошлым летом мы с Олегом были на поэтическом фестивале в Воеводине (там же, где ранее побывала Маша).

Ваша И.

22.08.10

Дорогая Ирочка! Каждый день моего короткого заочно-го знакомства с Вами Вы одариваете меня радостью... Когда думаю о Вас, улыбаюсь.

Л.Н.

02.09.10

Дорогая Ирочка!

Во-первых, поздравляю с очередной публикацией. Могу передать только первое впечатление от Ваших стихов: завораживающая энергия мысли и фразы...

Искренне желаю Вам вдохновения в Вашем благородном деле написания мемуаров (что касается поэтического вдохновения, оно, я думаю, не оставляет Вас и во сне)...

Искренне Ваша Л.Н.

04.09.10

Дорогая Лилия Наумовна!

Спасибо, что прочли стихи и откликнулись.

Со своей стороны мы тоже скоро откликнемся и аукнемся – аукаться будет Олег, составитель русской версии. И по поводу Каверина, и о Сербии. Получила записочку от Драгини – как всегда, тёплую, живую – у них в Новом

Саде сейчас фестиваль – тот, где побывали и Маша, и мы с Олегом.

03.10.10 мы с Олегом обменялись сообщениями о порядке пересылки фотографий и надписей к ним. Мне дороги две приписки к этим сообщениям:

С уважением и восхищением Вами как автором.
Л.Н.

Спасибо за добрые слова.

С уважением,
Ваш Олег.

04.10.10

Дорогая Ириночка! Мне понадобилось время, чтобы прочитать Ваши эссе и часть написанного Олегом. Это не быстрое чтение, тут вся голова работает, и мозги иногда враскорячку. Так же медленно я читаю прозу Пастернака и Платонова. Каждое слово требует осмысления, пока не «зазвонит теория относительности».

Пока я читала Ваше эссе о стихотворчестве, забыла дышать. Я хорошо представляю себе, как зарождается в Вас что-то, не зависящее от Вас.

Пока читала прозу Олега, мне было «тепло, радостно», но никак не «обыкновенно». К парадоксальной прозе тяготел ранний Каверин, и не только ранний. Парадоксальную фразу, которую я сделала эпиграфом к моим запискам о нём, я взяла как раз из позднего Каверина. Я знаю, как Вы заняты, отвечать мне совсем необязательно. Я только хотела показать, что читаю.

Ваша Л.Н.

Милая Лилия Наумовна! Конечно, отвечаю: спасибо!
Переслала Ваше письмо Олегу.
И.

05.10.10

Дорогая Лилия Наумовна,

И ещё одна связь с Кавериним (и Зильбером) – как и они – я потомок кантонистов и военнопоселенцев (Машинских). И, самое забавное, – Олег тоже!

Ваша И.

10.10.10

Дорогой Олег! Поскольку я не могу послать фотографии без Вашего присутствия в скайпе, а я Вас никак не подловлю, может быть, Вы найдёте время для этой операции, скажем, завтра, когда я буду практически целый день у компьютера.

Виртуальная встреча состоялась. Не могу припомнить, видела ли я фотографию мужественного лица Олега в тот день или позже. Его обволакивающий, завораживающий голос вытеснил всё остальное и даже отключил память.

Кстати, позже из написанного об Олеге Ириной Машинской я узнала и ещё нечто, что нас с ним объединяет: оба мы апологеты буквы Ё.

13.10.10

Дорогой Олег! Ваш удивительный голос действует прямо-таки терапевтически.

Для моих письменных опытов нужен какой-то побудитель. Сначала это был сам Каверин, затем литературовед из Ленинграда Тамара Юрьевна Хмельницкая... Мы подружились с ней в 1989 году в Пскове, переписывались. Я храню с десяток её написанных «курописью» (собственное выражение Т.Ю.) писем... Я была у неё в Ленинграде в течение трёх дней. Она читала мои, посвящённые ей, заметки, одобрила их и сделала примечание, которое касается её самой. На прощание Т.Ю. сказала: «Я неприлично долго живу. Спасибо Вам, эти три дня я была человеком».

Специально для Вас маленькое дополнение к воспоминаниям о Каверине.

Во время похорон Вениамина Александровича, уже на кладбище Яков Аркадьевич Гордин, известный литературовед из Питера, сказал: «Если наш мир устроен не так примитивно, как мы себе представляем, то Вениамин Александрович и Лидия Николаевна (Тынянова, жена В.А. и сестра Ю.Н. Тынянова – Л.Б.) обязательно встретятся».

А я вспомнила фразу В.А., сказанную во время одной из доверительных бесед: «Даже если бы я встретил одну из трёх Граций, я не женился бы на ней – у меня могла быть только одна жена, Лидия Николаевна».

11.02.11

Дорогой Олег! Идёт ли речь о полном или кратком варианте рукописи моих воспоминаний о Каверине? В кратком варианте есть Машина врезка, сделаны все сноски и есть концовка, которую мы с Машей вместе отработали на основе автографов В.А. В общем, на Ваше усмотрение.

12.02.11

Дорогая Лилия Наумовна! У нас есть 22 фотографии и подписи к ним... Надо печатать краткий вариант, не экономя на визуальном ряде... Буду Вам благодарен, если Вы пришлётё краткий вариант в его последней редакции.

С уважением,

Ваш Олег.

Я отослала Олегу краткий вариант и одновременно послала его сыну Вениамина Александровича Каверина Николаю Вениаминовичу, который ранее ознакомился с полным вариантом текста.

26.04.11

Дорогая Лилия Наумовна! Извините, что отвечаю Вам только сейчас. Хотелось внимательно и без спешки прочитать окончательный текст Ваших воспоминаний и сейчас это удалось...

Мария Игнатьева написала очень хорошее предисловие к Вашим воспоминаниям.

Ваши воспоминания написаны очень живо и ярко. Вениамин Александрович в них совершенно живой и именно такой, каким он был.

Николай Вениаминович Каверин.

27.04.11

Дорогой Олег! Николай Вениаминович Каверин написал мне свои замечания. Я считаю их очень важными и нужными и прошу учесть при опубликовании.

С уважением и благодарностью,

Л. Белинькая.

27.04.11

Дорогая Лилия, спасибо! Эти замечания представляются мне очень ценными и важными. Как славно, что Ни-

колай Вениаминович их учёл. Публикация увидит свет в течение ближайших двух недель, они будут внесены в текст.

Всего Вам самого доброго!

С уважением,
Олег.

13.05.11

Мы с Олегом не забыли о Вашем материале (о Каверине). Просто мы сейчас заняты выпуском двух томов английской версии журнала, и до русской версии не доходят руки. Думаю, мы выпустим его через месяц, и после этого из всех русских материалов Ваш – первый на очереди. Олег даже пытался поставить его на той неделе, но помешала срочная работа.

Обнимаю Вас,
Ваша Ирина.

29.07.11

Олег Вулф (1954 – 2011)

Поэт и главный редактор литературного проекта «Стороны света».

Всё внутри оборвалось и обвалилось...

Дорогая Ирочка!

Я глубоко потрясена, просто раздавлена вестью о безвременной кончине талантливого поэта и прозаика, Вашего супруга Олега Вулфа. Скорблю вместе с Вами.

Всегда Ваша Л.Н.

02.08.11

Дорогая Ирочка! У меня в памяти навсегда останется просто завораживающий тембр голоса Олега. Мы с ним общались по скайпу, когда я пересылала фотографии. Помнится, я даже сказала ему об этом.

Преданная Вам Л.Н.

03.08.11

Спасибо, дорогая Лилия Наумовна! Если бы Вы знали, как он пел. Он работал над диском песен на мои стихи – 10 песен.

Дорогая Ирочка! Когда я пленилась голосом Олега, я ведь даже не знала, что он ещё и поёт. Надеюсь, есть записи, которые я когда-нибудь услышу. А музыку к Вашим стихам кто написал?

Дорогая Лилия Наумовна,

Видимо, к концу года дойдут руки до Сторон света... № 14 будет последним и только сетевым. То есть Ваш материал будет в заключительном русском номере Сторон света.

Олег писал музыку сам и готовил диск. Если соберём достаточно файлов, хотя бы невысокого качества, сделаем диск для своих...

26.08.11

Дорогая Ирочка! Большое Вам спасибо, что Вы и мне общаете о вечере памяти Олега, и о переносе вечера из-за непогоды... Меня не отпускают тяжесть и грусть перед тайной смерти молодого и полного сил человека. Я наконец-то внимательно разглядела лицо Олега, такое волевое и красивое. А ещё я много думаю о Вас... Вы, безусловно, человек сильный, но Вам от этого не легче... Примите ещё раз моё искреннее со-болезнование, со-чувствие, со-участие во всём, в чём я могу помочь на таком огромном расстоянии. И ещё очень грустно думать, что такое достойное издание прекратит своё существование. Может быть, оно всё-таки останется памятником Олегу?

Всегда и во всём Ваша Л.Н.

Спасибо, дорогая Лилия Наумовна,

Нет, журнал не прекратится, будет продолжаться в том же ключе, как мы планировали в последний месяц... И русская версия выйдет – там будет блок воспоминаний и статей об Олеге.

Ваша И.

27.08.11

Какая радость, что Стосвет продолжит своё существование!

И дело даже не в том, будет ли моя невезучая рукопись опубликована. Это великое противостояние подарило мне радость общения с интересным, многогранно талантливым че-

ловеком, обогатило меня как личность и подняло из глубины души вечное раздумье о тайнах бытия, смысле жизни и смысле ухода...

К 25-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ В. А. КАВЕРИНА

МАРИЯ ИГНАТЬЕВА

ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТАРЬ ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА

Евгений Шварц записал в дневнике: «Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказать отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нём душу ещё и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и всё его существо. И вдруг поняли – жизнь показала, время подтвердило: Каверин – благородное, простое существо. И писать он стал просто, ясно, создал в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный». Тот же образ – простой, чистой, благородной личности – возникает в воспоминаниях последнего секретаря Вениамина Каверина, Лилии Белинькой.

Л.Н. Белинькая – выпускница исторического факультета МГУ (кафедра истории южных и западных славян), ученица выдающегося слависта Ильи Ильича Толстого, внука Льва Толстого. Благодаря его влиянию, Лилия Белинькая стала специалистом в области сербскохорватского языка, гидом «Интуриста». Ещё студенткой Белинькая запомнила просьбу своего учителя собирать для него парные слова русского и сербскохорватского языков, которые звучат одинаково, но не совпадают по значению (межъязыковые омонимы), так как он задумал составить словарь «Ложные друзья». Он не успел осуществить задуманное. Спустя почти полвека ученица начала собирать такие слова и составила словарь, который посвятила памяти своего учителя. Сейчас Лилия Наумовна работает в сербской (термин «сербскохорватский язык» перестал употребляться по политическим мотивам) редакции радио «Голос России».

И вот они перед нами: 85-летний писатель – живое, смешливое, деятельное и благородное существо. Его секретарь – молодая, образованная женщина, с чувством юмора, с обострённой способностью сопереживания. И «герой» этих записок – так названа в предисловии, не вошедшем в журнальный

вариант, – дружба писателя и его секретаря: таланта и поклонницы, автора и читательницы, мужчины и женщины. Плодом этой дружбы стала нежность, осветившая последние годы жизни одного и зрелость другой, и – эти воспоминания.

Перед читателем – частные записки одного любящего существа о другом. Такое отношение предполагает первенство субъективности, а значит, и приоритет эмоций, а не рассудка, главенство лица над событием, здесь тональность важнее, чем звук. Главное свойство этих записок – естественность тона. Женская память лучше сохраняет отрадные сердцу воспоминания (признания в нежности, одобрение, благодарность), но она же не даёт исчезнуть голосу, смеху, переживанию. Важно и то, что в данном случае эта субъективность совершенно свободна от сентиментальности и сомнений: «Я не чувствовала ни малейшего напряжения, общаясь с Вениамином Александровичем. С ним так легко было быть самой собой, не стараясь казаться лучше и умнее, чем есть на самом деле. И разница в интеллекте совсем не угнетала». Не менее важно, что собственно литературный строй определён живым и безупречным стилем.

Недаром и сам В. Каверин считал, что его секретарь должна писать прозу. И удивился, услышав, что у неё нет потребности сочинять. Однако, пусть и против воли, Лилия Белинская стала писательницей: доказательством тому являются и её письма (отрывки из них приводятся в публикации), и эти воспоминания, и записки о сербском монахе Досифее (они ещё ждут своего издателя). Каверин оказался прав.

ЛИЛИЯ БЕЛИНЬКАЯ

КАВЕРИН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Т.Ю. Хмельницкой

Дело в том, что к его душевному складу присоединяется загадочная черта, которая убедительно доказывает, что в природе многое решительно сопротивляется любому объяснению.

В. Каверин «Верлиока»

Вот и наказана я за то нетерпение, с которым листала страницы разных воспоминаний, искренне недоумевая, почему автор так много внимания уделяет собственной персоне. Я относилась с иронией к предположениям о том, что напишу воспоминания: о Вениамине Каверине писали и ещё напишут серьёзные учёные, литературные критики. Что может тут добавить последний секретарь? Однако во время литературных чтений, посвящённых памяти Ю. Тынянова и В. Каверина в Пскове в октябре 1989 года пушкинисты супруги Парчевские, живущие у самого Святогорского монастыря, и ученица Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова Тамара Юрьевна Хмельницкая¹³ убедили меня, что следует записать всё, что я помню, что всегда найдётся кто-то, для кого эти записки представляют интерес¹⁴.

Достояние моё, которым я могу поделиться с другими, – трогательная дружба – ею удостоил меня Вениамин Александрович. Не без сомнения решаюсь я обнародовать слова, сказанные им по моему адресу, и делаю это лишь потому, что слова эти не столько отражают мои достоинства, сколько выражают

¹³ В свои студенческие годы Т. Хмельницкая была участницей семинара по современной прозе, который вёл Каверин в Институте истории искусств. Эйхенбаум и Тынянов любили поручать своим старшим ученикам самостоятельную работу, продвигающую их теории и изыскания. Каверин вёл семинар по современной прозе, а Борис Бухштаб – по современной поэзии, особенно подробно останавливаясь на творчестве Мандельштама и Пастернака (Прим. Т. Хмельницкой).

¹⁴ Собственно говоря, кое-какие записи у меня уже были. Не надеясь на память, я записала некоторые его мысли, наши разговоры. Мне хотелось их помнить как можно дольше и точнее.

его снисходительность, благородство и нерастраченную способность светло и романтично воспринимать окружающее.

В секретари Каверина я попала прямо из гущи читательской массы.

Много лет тому назад моя близкая подруга Наташа Зейфман разбирала архив Вениамина Александровича. Он очень тепло написал о ней в предисловии к книге «Вечерний день». Остались они друзьями и после завершения работы в архиве.

И вот летом 1986 года у нас с Наташей состоялся такой забавный телефонный разговор:

– Лилька, Каверин просил найти ему секретаря. Мне пришла в голову безумная мысль, что это можешь быть ты!

– Ты что! Я не могу. Я ничего не понимаю в архивах.

– Дура! Это же Каверин!!!

Решили, что я попробую поработать секретарём. У меня как раз начался отпуск (вообще-то, я работник «Интуриста»), а Наташа за это время подыщет настоящего секретаря.

Итак, подруга везёт меня в Переделкино представить Вениамину Александровичу. Помню своё «олимпийское» спокойствие – надо полагать, это была защитная реакция на случай, если мой дебют в роли секретаря окажется неудачным.

...Посёлок в хвойном лесу, никогда не запирающаяся калитка, а посреди большого заросшего травой и деревьями участка кустом сирени стоит дом (так уж он необычно окрашен).

Дом небольшой, скромный и очень уютный. Кабинет, столовая, детская, кухня, крошечная библиотека (впрочем, книги свободно располагаются по всему дому) и устроенная в виде зимнего сада веранда – на первом этаже, да две маленькие спальни на втором – вот и весь дом. И мебель в нём не служит украшением, а используется по назначению, даже шкаф орехового дерева – из него то и дело достают чашки – в доме всегда гости.

На стенах картины: привлекает внимание портрет В.А. кисти Бориса Биргера.

В романе «Перед зеркалом», который Каверин считал своим лучшим романом, почти в самом конце его есть прелестная сцена, в которой запечатлён творческий процесс. Заканчивается она словами: «Детские, прозрачные крылья писали сами себя, и вообразить портрет без них было уже невозможно». В

день знакомства с В.А. я, конечно же, не подозревала, что такой портрет не просто игра воображения, но существует на самом деле. Это и есть портрет Каверина кисти Бориса Биргера. В.А. сам сказал мне об этом много позже.

...Каверин отдыхает, а мы сидим на веранде, тихонько разговариваем, ждём, когда он проснётся. А вот и он. Радостно устремляется к моей Наташе, протягивая руки.

Вскоре Наташа уехала, а я осталась знакомиться с архивом и привыкать к своим новым обязанностям.

...Вениамин Александрович заплулся на моём отчестве, и я предлагаю называть меня просто по имени, ведь я Наташи-на подруга. «Нет, – возражает он. – Так удобнее. А то чувствуешь себя каким-то Мафусаилом».

Впрочем, вскоре возражение отпало само собой вместе с отчеством.

* * *

Отдыхаем, и я произношу: «Вот не думала, что буду пить чай с живым классиком!» И тут В.А. рассмеялся – весело и открыто, запрокинув голову. Так хорошо рассмеялся, что я потом часто ловила себя на желании рассказать что-нибудь забавное, чтобы снова и снова видеть, как он смеётся.

* * *

Уже в следующий раз, а это было 22 июня 1986 года, В.А. продиктовал мне письма к другу, затем к женщине, которой был когда-то увлечён, и я как бы оказалась в его внутреннем мире, куда он меня так естественно, с таким доверием ввёл.

* * *

В июле 1986 года, желая сократить путь от станции до дома, я решила пройти лесными тропинками, запуталась в них и опоздала минут на двадцать. За это время В.А., по его словам, придумал сюжет нового романа:

– Я назову его «Силуэт на стекле». Я однажды видел такой силуэт. Между героями романа большая разница в возрасте, её брат настроен против них...

* * *

Я прочитала вёрстку «Заветной черты» и несколько дней в себя прийти не могла...

– Ненашев – это немножечко вы?

– Это автобиографическая повесть.

* * *

Прошёл месяц, кончился мой отпуск, а мы с В.А. и не вспоминали, что я пришла помогать ему временно, пока не найдут настоящего секретаря. Установились отношения доверия, дружбы, приязни.

Я не чувствовала ни малейшего напряжения, общаясь с В.А. С ним так легко было быть самой собой, не стараясь казаться лучше и умнее, чем есть на самом деле. И разница в интеллекте совсем не угнетала.

* * *

Работали мы обычно в библиотеке: В.А. диктовал, сидя в кресле, а я сидела на детском стульчике у низкого плетёного столика за портативной пишущей машинкой. Я старалась как можно лучше и быстрее выполнить работу – разложить по конвертам и папкам письма, статьи, газетные вырезки...

Однажды, уже заканчивая «конвертирование» документов, слышу, как В.А. (он в это время стоял у стеллажа с папками) произносит:

– Если бы вы знали, как вы мне помогаете!

– Чем же? – я это спросила, не прерывая работы, чтобы уточнить, какое из моих занятий он имеет в виду.

– Самим своим существованием.

Запомнилось, что все три слова начинались на «с».

* * *

Как правило, мы видимся дважды в неделю – моё основное занятие тоже требует много сил и внимания, а то и служения. И вот я сообщаю В.А., что уезжаю на две недели сопровождать группу священников и мирян Сербской Православной Церкви во время их поездки в Москву, Загорск, Владимир, Суздаль, Ленинград и Тбилиси.

В.А. со вздохом соглашается ждать моего возвращения, а мне и самой кажется, что две недели – это целая вечность.

* * *

8 – 9 октября 1986 года

Дорогой Вениамин Александрович!

Начиная писать это послание, я подумала: «И ты, Брут... присоединился к атакующим славного мэтра письмами». Но, видно, такая у Вас планида. Да и письма мои выгодно отличаются от других тем, что не требуют ответа...

Сейчас мы в Ленинграде. Представляете, гуляю по Невскому в обрамлении двух монахов – отца Алексея¹⁵ и отца (скорее сына) Досифея. Это моя постоянная компания. Отец Досифей, олицетворение духовности, сказал мне: «Сестра Лиля, когда вас близко нет, у меня возникает ощущение пустоты». Этот царский подарок требует соответствия, теперь я хожу на все службы и скоро наизусть буду знать литургию.

До следующего репортажа Вашего личного «собственного корреспондента». Ваша «сестра Лиля».

* * *

Вернувшись в Москву, звоню в Переделкино, чтобы сообщить о своём скором приезде. В ответ слышу:

– Лиля, приезжайте скорее, я, как и ваш спутник, чувствую без вас пустоту.

* * *

Как всегда, работаем, и вдруг В.А. говорит: «Лиля, я хочу сделать вам предложение, но думаю, что вы его не примете...» Пока я ошалело соображаю, что к чему, В.А. продолжает: «Я хочу съездить в Псков на празднование двухсотлетия гимназии, где я учился, теперь школы №1 имени Леона Поземского. Я хотел бы, чтобы вы меня сопровождали». Уразумев, в чём дело, я радостно кричу: «Конечно, поеду! С вами хоть на край света!»

¹⁵ В честь канонизированного Русской Зарубежной Церковью царевича Алексея.

* * *

Поездка эта состоялась в октябре 1986 года. Кроме секретаря, В.А. сопровождал сын, учёный-вирусолог Николай Вениаминович Каверин.

В.А. был очень оживлён, всё ему было интересно: и торжественное заседание, посвящённое юбилею, на котором он выступил с приветственным словом, и экспонаты удивительного музея, посвящённого выпускникам гимназии (затем школы №1), и встреча с читателями (он подарил Детской и юношеской библиотеке – теперь это библиотека им. В. Каверина – своё восьмитомное собрание сочинений), и проект памятника литературным героям – двум капитанам, – который представил ему молодой архитектор В. Бурьгин из Ленинграда (скульптор М. Белов не смог приехать в то время в Псков).

* * *

Разговор по телефону:

– Лиля, вы отнесли письмо в Союз писателей?

– Конечно. Ещё вчера. Не волнуйтесь, Вениамин Александрович.

– А я и не волнуюсь. Мне просто захотелось с вами поговорить. Сейчас по московской программе телевидения передают концерт «Виртуозов Москвы». Вы смотрите эту передачу?

Был перерыв, и мы поговорили о том, какую радость приносит нам оркестр Владимира Спивакова. В.А. и позже не раз упоминал о наслаждении, которое испытывает, слушая «Виртуозов Москвы».

* * *

Иногда я застаю В.А. весёлым, оживлённым, а иногда он жалуется на бессонницу, на плохое самочувствие. Как-то, расставшись с В.А., я места себе не находила от беспокойства – так ему нездоровилось. И тут мне позвонили из редакции «Московских новостей» с просьбой съездить в Переделкино уточнить какое-то место в интервью (только я могла найти в бумагах нужный текст). И вот мы с редактором отдела культуры Ольгой Евгеньевной Мартыненко на редакционной машине едем к В.А. Я вдвойне счастлива: заста-

ла его поправившимся и полюбила умную и тонкую Ольгу Евгеньевну.

* * *

- Когда вы будете в следующий раз?
- Когда хотите.
- Я хочу, чтобы вы были всегда!

* * *

23 мая 1987 года

Дорогая Алла Алексеевна!¹⁶

Прошёл уже целый месяц после юбилея¹⁷, а я всё никак не напишу Вам о нём.

Во время творческого вечера в ЦДЛ В.А. выглядел просто великолепно, был, как всегда, элегантен.

Сначала В.Д. Оскоцкий рассказал о том, что написал В.А. после своего 80-летия, которое, кажется, недавно отпраздновали здесь же.

Затем Наталия Сац, со свойственным ей темпераментом рассказала, что узнала о вечере часа за два до его начала и приехала прямо с репетиции поздравить В.А.

В.А. сказал, что задумал этот вечер не как традиционный юбилей, когда обычно юбиляру затыкают рот, а как вечер встречи с друзьями и читателями, вечер вопросов и ответов. И вечер действительно получился удивительный: тёплый, непосредственный, искренний.

Ученик В.А. В. Савченко прочёл несколько страниц из неопубликованных (пока) воспоминаний, затем прорвались с поздравлениями и приветственными адресами Алексин и полярники, потом В.А. отвечал на вопросы. Тактично, но неуклонно В.А. отстранял всё, что не касается литературы, как то: нужно ли переносить на другое место скульптуру Мухиной «Рабочий и колхозница», как он относится к неформальному объединению «Память» и т. д. А на вопрос, почему до сих пор не отменено Постановление ЦК относительно Ахматовой и Зо-

¹⁶ А.А. Михеева – заведующая Детской и юношеской библиотекой в Пскове.

¹⁷ 85-летие В.А. Каверина.

щенко, сказал, что сам удивляется этому. «Но я же не член ЦК, чтобы предложить отменить его», – добавил он.

А умного вопроса, посвящённого литературе, мы так и не дождались. И тем не менее почувствовали весь каверинский арсенал: глубину мысли и чувства, иронию и юмор, такт и бесконечное личное обаяние.

В конце вечера Борщаговский сказал, что день выдался особенный: вышла «Неделя» с рассказом Яшина «Рычаги», «Дружба народов» №5 с продолжением романа Рыбакова «Дети Арбата» и «Знамя» №6 с булгаковским «Собачьим сердцем». «Какое отношение имеет ко всему этому Вениамин Александрович? – задал он риторический вопрос и сам же на него ответил: – Самое непосредственное!»

Никто не заметил, как прошли два часа. В конце вечера прочли записку: «Дорогой Вениамин Александрович, Господи, разве можно словами выразить, как мы Вас любим!» Вот такой аккорд в финале!

Всего Вам доброго. Не перестаю удивляться Вам и восхищаться Вашей энергией. Ваша Л. Белинькая.

* * *

В июле 1987 года мы едем в Дубулты, в Дом творчества писателей имени Яна Райниса, где В.А. будет отдыхать недели три.

В это же время здесь находятся Даниил Гранин, Константин Ваншенкин и Инна Гофф, Сергей Антонов с женой Наташей и внучкой Татой, актёр Тараторкин с семьёй, поэтесса Маро Маркарян, Чаковский и другие литераторы и актёры.

* * *

Мы много гуляем, особенно по пляжу. Присаживаемся отдохнуть. Запомнилась улыбка В.А., восторженная и нежная, с которой наблюдал он, как малыш, похожий на канатоходца, – раскинув ручонки, балансируя ими, – делает первые шаги.

– Как вы любите детей!

– Я их просто обожаю!

* * *

В.А. пересказал мне разговор, при котором я не присутствовала. Судя по всему, Даниил Александрович Гранин пошутил по поводу того, что В.А. в кедах: «Вениамин Александрович, вы бегать собрались?»

– Он хотел надо мной посмеяться, а я не сообразил ему сразу ответить: «Да, я бегаю, и очень быстро, и вам даже на нашем “Зубре” меня не догнать. Что называется, остроумие на лестнице!»

Уже позже, перед самым отъездом, Гранин спросил, могут ли они с В.А. поговорить, и тот ответил, что у него другие планы – собрался читать. Даниилу Александровичу и в голову не могла прийти истинная причина отказа, а я уверена, что всё дело в шутке, которой он, разумеется, не придал никакого значения.

* * *

В это время года день длится долго, и В.А. перед сном хочется прогуляться. Заканчиваем прогулку у памятника Ленину. Садимся на скамейку позади монумента – над нами нависает каблук огромного ботинка. Говорим о трудных временах, о том, как удавалось выжить.

– Меня всегда спасал жадный интерес к жизни.

* * *

16 июля 1987 года

Слушаем «Реквием» Верди в Домском соборе. Рядом с нами мается дитя – восьмилетний внук драматурга Алёша. Я шёпотом называю части «Реквиема».

Услышав долгожданное слово, мальчик восторженно:

– Что, уже последний куплет?

Мы потом долго со смехом вспоминали этот «последний куплет».

* * *

В.А. с увлечением качается на качелях и уходит с пляжа только потому, что «мальчишки смеются».

А вечером мы слушаем в Соборе органные пьесы Брунса, Баха, Мендельсона, Степиньша.

* * *

Во время прогулки В.А., смеясь, декламирует эпиграмму Е. Шварца:

Каверин Вениамин
Бил был,
Был бит.
Вне себя от гнева,
Так и гнул налево.
А теперь Вениамин
Стал примерный семьянин.

* * *

Вечер необыкновенно тихий. Во время прогулки В.А. рассказывает о том, как люди в тридцать седьмом находили силы смеяться и шутить. Поёт:

Однажды лунной ночью
Стоял большой колхоз.
И к этому колхозу
Кулак вдруг подполоз.

– Это импровизация Шварца. Вообще, он меня сначала не любил, потому что я ему устроил сцену ревности в связи с тем, что он женился на бывшей жене моего брата. А я был пьян и наговорил глупостей. Дурак был!

– Зачем же устраивать сцену по поводу бывшей жены?

– В том-то и дело, что она ещё не была бывшей!

Смеётся...

Позже в ответ на вопрос, удачен ли был этот брак, ответил:

– Чудный брак! Катя была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел.

– А как же Лиля Брик? Вы так о ней говорили...

– Там было что-то восточное, а Катя была русской красавицей.

* * *

В библиотеке В.А. берёт Тургенева для себя и Стивенсона для меня. Говорит, что многому у него (Стивенсона. – Л.Б.) научился, что этот автор, к сожалению, недооценён.

– Вы должны мне быть благодарны за Стивенсона. Это подарок. Будете вспоминать, когда я буду уже там...

* * *

В Центральной библиотеке Дубулты состоялась встреча с читателями. В.А. с удовольствием принял это приглашение. Он отметил, что в молодости придавал большое внимание таким встречам, сейчас же они стали редки в связи с его преклонным возрастом. На просьбу читателей оценить свой стиль ответил:

– Пишу, вкладывая всю душу. Ценю стиль классический, простой, без украшений. Труд это тяжёлый. Я труженик (без преувеличения). Это не подвиг, я просто не могу иначе... Вообще же, интереснее всего было писать в восемнадцать лет.

Говоря о новых произведениях «Печальный детектив» Астафьева, «Белые одежды» Дудинцева и «Дети Арбата» Рыбакова, В.А. отметил:

– Тематический подход заслонил эстетический, как было в двадцатые годы с ОПОЯЗом. Он несвойствен литературе, это ведёт к ограничению. Тематический кругозор подсказан издательскими планами, а задание чуждо искусству.

Далее В.А. сказал, что он не сторонник преждевременных оценок.

– Я помню славу Павленко, Корнейчука... Время как песочные часы...

На вопрос о том, возможно ли в отрыве от родины сохранить себя как художника, В.А. ответил:

– Смотря какая личность. Аксёнов, например, увлекается новаторством – читать трудно. Конечно же, отъезд за границу выбивает перо из рук.

Кто-то из читателей заинтересовался тем, был ли В.А. знаком с Пильняком.

– Был знаком, но не любил. Несомненный талант, но странный.

* * *

Возвращаемся с концерта в Домском соборе в Риге. Слушали Моцарта.

Переезжаем реку Лиелупе.

– В ней утонул Писарев.

–?!

– Несравненно большая потеря для литературы ранняя смерть Лермонтова. Писарев чёрт-те что писал... Ниспровергал Пушкина. Юрий Николаевич¹⁸ говорил: «Писаревщиной, как корью, каждый должен переболеть».

* * *

Во время прогулки В.А. просит напеть ему мелодию ромansa «Я встретил Вас». Слушает. Сам подпевает. Далее следует просьба спеть «В лесу прифронтовом»: «С берёз неслышен, невесом...» Я уже пропела все слова, какие знала, и не один раз, а В.А. всё не мог наслушаться...

* * *

В.А. сидит в кресле в нашей гостиной (она же моя спальня) и читает Тургенева. Я в это время хлопочу по дому (уж и не помню, что я в это время делала). Ловлю на себе взгляд В.А. Он улыбается.

–?

– Лиля, я сам удивляюсь, я от вас совсем не устаю.

Глаза его лукаво прищурены.

– А ведь не было женщины, от которой бы я не уставал!

* * *

При возвращении с прогулки приятная встреча: сидящая женщина с открытым интеллигентным лицом подходит к нам и благодарит В.А. за выбор профессии, о котором она никогда не пожалела. Это Валентина Павловна Попова, доцент микробиологии из Воронежа. В 1952 году она прочла «Открытую книгу» и поступила в медицинский институт. В.А. с чувством целует ей руку.

¹⁸ Тынянов.

Позже, размышляя об этом случае, он произносит:

– Значит, я вмешиваюсь в жизнь читателей? Это свойство литературы двадцатого века...

Вечером того же дня у нас в гостях Сергей и Наташа Антоновы. После их ухода В.А. произносит:

– Порядочный человек и хороший писатель.

* * *

Привожу с базара уйму разных подарков для родных В.А. Он радуется как ребёнок.

– Вениамин Александрович, вы заметили, что у нас с вами вкусы совпадают?.

– Вкусы у нас совпадают прежде всего в том, что я нравлюсь вам, а вы нравитесь мне.

И В.А. розовеет от смущения.

– Остаётся поздравить друг друга с хорошим вкусом! Смейся...

* * *

Вечером гостим у Нины Васильевны и Валентина Дмитриевича Оскоцких¹⁹ в пансионате «Правда». Вениамин Александрович оживлён, прекрасно себя чувствует, раздумянился... Сидит он в кресле тёмно-вишнёвого цвета, и жаль, что некому было его тогда написать: получился бы изысканный живописный портрет в тёплых тонах...

Нас провожают. По дороге речь идёт об особенностях 1937 года – звонишь приятелю, а отвечает незнакомый голос... О Горьком: по мнению В.А., в нём было что-то разбойничье. Сталин боялся, что он может выкинуть что-то неожиданное. Отсюда вероятность отравления.

Обращаясь к Валентину Дмитриевичу, он добавляет:

– Я много ещё мог бы написать! Есть концепция «чаковщины», концепция о сходстве литературы двадцатого века и литературы восемнадцатого века, да и другие идеи...

¹⁹ Оскоцкий В.Д. – литературный критик, литературовед.

* * *

1 августа 1987 года в нашу размеренно-лирическую жизнь, нисколько не нарушив её гармонии, ворвалась шаровая молния в облике Мариэтты Чудаковой²⁰. В.А. оживлён, он и двигается энергичнее.

Во время прогулки по пляжу он убеждает Мариэтту не сдерживать себя как художника при создании «Жизнеописания Михаила Булгакова».

Она же замечает по поводу статьи В.А. «Факт с живыми последствиями» в «Московских новостях»:

– Не вписывается цитата Пастернака о том, что поэзия – та же проза...

– Тут я покривил душой. Рыбаков не любит и не понимает поэзии...

А вечером в Соборе, опять же втроём, наслаждаемся органной музыкой: слушаем Баха, Клерамбо, Франка, Вальтера.

* * *

Вениамин Александрович взял с собой в Дубулты рукопись литературных воспоминаний под названием «Эпилог», написанную заведомо «в стол» в семидесятые годы. Теперь появилась надежда её опубликовать. Это страниц семьсот машинописного текста. Я читаю рукопись по ночам, не могу оторваться.

Знакомится с ней и Мариэтта. Обсуждаем вопрос, где опубликовать, и я предлагаю показать рукопись Ольге Евгеньевне Мартыненко... Дело кончается тем, что в «Московских новостях» появляется статья под названием «Над потаённой строкой». Но об этом позже.

* * *

Разговариваем о книге «Два капитана», которую я считаю маяком для людей того страшного времени, о чём и сказала Вениамину Александровичу.

– Книгу оценил даже Сталин. Со слов Тихонова, он отметил, что роман приключенческий, но на психологической основе. Для него это тонкое замечание!

²⁰ Чудакова М.О. – российский литературовед, критик, писательница, мемуарист, общественный деятель.

О том, что книга эта помогла ему живым выйти из «Большого Дома» в Ленинграде, В.А. написал в «Эпилоге».²¹

* * *

Вениамину Александровичу показала свои стихи поэтесса Мария Сухорукова. Он раскритиковал их как неоригинальные.

И вот Маруся (как зовёт её за глаза В.А.) передаёт мне стихотворение, посвящённое самому Каверину (он отдыхал в это время). В столовой он подходит к их с мужем столу, благодарит её и целует.

Возвращаемся в свой номер, и я шутливо ворчу:

– Я вам тоже стих сочиню!

– Вам не надо. То, что вы делаете, похоже на стих.

* * *

Из моего письма Наташе Зейфман: *...Вениамин Александрович всё время был мил и очень добр. Его вежливость иногда меня просто поражала. Он не работал, и это непривычное для него безделье позволило ему рассказать мне много интересных историй. Кроме того, я увлечена его новой книгой, которую он, впрочем, написал ещё в 1975 году (рукопись). Одна глава из неё – о Пастернаке – вышла в №8 «Знамени».

Мы всё время проводим вместе, и я, надеюсь, что это не покажется тебе странным, немного устала от него. Впрочем, это не значит, что я так уж горячо желаю поскорее избавиться от его общества.

Всё, что я написала о нём, он сам продиктовал мне и мог бы ещё много написать о нашем милом времяпрепровождении. Но, думается, в этом случае мне уже не о чем будет рассказать при встрече.

Он очень жалеет, что ты в своё время не попыталась завести с ним роман, но, к сожалению, эту твою ошибку теперь уже трудно исправить.

Он шлёт тебе сердечный привет, а я крепко целую тебя. Привет Косте, обнимаю ребят.*

²¹ В. Каверин «Эпилог», «Московский рабочий», 1989, с. 241.

От звёздочки до звёздочки – прелестная шутка В.А. Я задумалась над письмом, и он предложил мне свою помощь. Храни!

* * *

Приезжаю в Переделкино после двухнедельного отсутствия (по болезни).

- Моё место ещё не занято?
- Оно никогда не будет занято!

* * *

Я принесла В.А. новый ремешок для часов и сказала, что с помощью этого подарка буду держать руку на его пульсе. Спрашиваю, что он собирается делать со старым ремешком.

- Выброшу.
- Дайте лучше мне.
- Зачем?
- Пусть будет у меня. Ведь вы его долго носили?
- Лет пять.
- Лукаво улыбается.
- Хотите, дам старые подтяжки?

* * *

В.А. диктует так быстро, что я еле успеваю печатать. Переспрашиваю:

- Что? Регина Владимировна?
- Вообще-то, я сказал «Ирина Владимировна», но этот вариант интереснее.

Так и стала одна из героинь романа «Над потаённой строкой» зваться именем моей любимой учительницы истории, из-за которой я и стала историком.

* * *

Пока я перед сном накладываю ему на ногу компресс, В.А. произносит:

- Я начинаю верить в Бога. Иначе кто же мне вас послал?
- Больше некому.
- Или дух Лидии Николаевны. Она любила меня и желала мне добра.

* * *

14 октября 1987 года

Дорогая Алла Алексеевна!

Я понимаю интерес псковичей к Вениамину Александровичу как к писателю и человеку и постараюсь как могу удовлетворить Вашу любознательность.

Дети Вениамина Александровича Наталья Вениаминовна и Николай Вениаминович – серьёзные учёные, профессора, доктора наук. Она – в области фармакологии, лауреат Государственной премии за открытия в области создания сердечных препаратов, он – вирусолог²².

Вениамин Александрович предпочитает жить не в Москве, а в Переделкино, на даче, где находится круглый год.

В июле я сопровождала Вениамина Александровича в его поездке на отдых, в Дом творчества писателей имени Яна Райниса в Дубулты. Вениамина Александровича интересно слушать, с ним интересно разговаривать, с ним интересно молчать... Один из секретов его обаяния состоит в том, что он сохранил особенности, присущие людям разного возраста. В нём органично сочетаются озорной и упрямый мальчишка, пылкий и стремительный юноша, зрелый и опытный мастер, мудрый мыслитель.

Мы много гуляли, бывали на концертах и выставках. Каверин, по его словам, увлёкся отдыхом. Врачи сказали, что он «годен к строевой службе». А ведь он участник войны, кавалер восьми орденов и медалей, в том числе двух боевых! Вениамин Александрович был военным корреспондентом в звании майора.

Теперь он снова работает. Повесть «Силуэт на стекле» появится в одном из номеров «Знамени». А Вениамин Александрович пишет роман, в основе которого лежит судьба писателя, необычайный характер которого давно занимал его воображение. Это Борис Лапин, журналист и беллетрист, оставивший ряд своеобразных книг, в которых действительность причудливо соединяется с воображением. Эта книга сложилась из нескольких сюжетов, отразивших далёкие друг от друга стороны жизни страны, и не только нашей. Действие происходит в Мо-

²² С 1988 г. – член-корреспондент АМН СССР.

скве, Ленинграде, на Кавказе, на Памире, на Камчатке, в Испании и т. д.²³

С уважением, Л. Белинская.

* * *

По словам В.А., он ни разу в жизни не сел за письменный стол небрежно одетым, без галстука.

Всё, что он написал, – а это восьмитомное собрание сочинений (вообще-то, набралось бы на все двенадцать томов, – считал В.А.), – было действительно написано рукой. С моим появлением В.А. стал диктовать свою прозу, но всё же сначала писал главу за главой в толстой тетради. Диктуя, он что-то изменял, вставлял, потом редактировал машинописный текст.

* * *

Остаюсь в Переделкине. Вечером смотрим передачу о Феллини. В.А. потом вспоминает о Чарли Чаплине, его фильмах. Напоминаю, что один из них описан в «Силуэте на стекле».

– А я забыл! Вы знаете мои произведения лучше, чем я.

– Как и положено секретарю.

– Какой вы секретарь! Вы близкий друг! Повезло мне в старости. Мне хорошо с вами... Так спокойно... Это союз надолго.

* * *

В шутку предлагаю В.А. назвать книгу, посвящённую письмам читателей и его ответам на них, «Выбранные места из переписки...». Смеётся.

После раздумья:

– Не надо пытаться сравниться с великими.

– Это вам не помешало назвать рассказ «Ревизор»!

Опять смеётся.

– Это рассказ оппозиционный. Сумасшедший рассказ!

²³ Роман «Над потаённой строкой». Эта часть письма отредактирована самим В. Кавериним.

* * *

24 октября 1987 года

Сербия

Уважаемая и дорогая сестра Лиля.

Сообщаю Вам, что пока нахожусь среди живых на этой земле. Каждый день я с Вами мысленно, мои видения особенно ярки в тишине средневековых стен, и мне кажется, что я в Загорске. Иногда я испытываю непреодолимое желание поговорить с Вами и тогда переносу свои чувства в дневник.

Я назначен игуменом одного крупного монастыря, что меня очень огорчает, так как превосходит мои возможности и способности – я влюблён в тишину, скромность и бедность – а эта ответственность неумолимо бросает меня в водоворот светской жизни. В связи с этим я ужасно страдаю в душе своей. Вашему папе и дочери Людмиле передайте мой привет и моё уважение. Как поживает старый писатель господин Вениамин?

Дорогая моя матушка, примите выражение моего глубочайшего уважения и любви к Вам от Вашего сына Досифея, который не знал, что существует сыновнее чувство большее, чем к родной матери. Досифей.

В.А. дочитал перевод письма, который я сделала специально для него.

– Какие красивые отношения!

* * *

Как-то В.А. попросил меня прочесть рукопись. Ему накануне позвонила вдова его друга, теща Дмитрия Журавлёва, с просьбой ознакомиться с машинописным вариантом писем из туруханской ссылки Ариадны Сергеевны Эфрон своей тётушке Елизавете Сергеевне Эфрон. В.А. себя плохо чувствовал и попросил, чтобы письма прочла сначала я.

...Когда же я сказала, что у меня нет слов выразить потрясение, испытанное при чтении этих писем, В.А. сам схватился за рукопись. Прочитав её, он написал редактору «Невы» Никольскому письмо и рекомендовал опубликовать письма Ариадны Сергеевны, что и было сделано.

Составительница книги писем Ариадны Эфрон «А душа не тонет» Руфь Борисовна Вальбе, близкий друг семьи Эфрон, с тех пор в шутку зовёт меня своим талисманом.

...О письмах и воспоминаниях А. Эфрон
Скажу коротко: они поразили меня.

Подобных описаний северной природы я никогда и нигде не читал.

Незаурядная личность Ариадны Сергеевны, заброшенной в далёкий Туруханск, видна в них с выразительностью, которая говорит о её оригинальном, тонком таланте. Эти письма не могут оставить равнодушным ни одного мыслящего и тонко чувствующего человека. Читаются они с захватывающим интересом. Трагическая судьба Марины Цветаевой отбрасывает зловещую тень на всех её близких, и эта тень видна в постепенном узнавании об их участи.

Я почти уверен, что ваша редакция, как и все редакции нашего центра, перегружена, но эта рукопись может смело состязаться с любой, лежащей в портфеле вашего журнала.

В случае, если Вы согласны ознакомиться с рукописью, я немедленно пришлю её Вам.

Крепко жму руку, В. Каверин.

9.11.87 г.

* * *

25 декабря В.А. рассказывает мне свой сон:

– Мы с Лидией Николаевной в чужой стране. Это огромный дом, где нам нет места для ночлега. Никуда не пускают – всё занято. Вдруг как-то удаётся пристроить Лидию Николаевну. Не попрощавшись, она исчезает, и я понимаю, что так надо. Решаю обратиться за помощью к Сталину, больше некуда. Знаю, что меня к нему не пустят. Жду, когда кто-нибудь выйдет из приёмной, чтобы проскользнуть туда. Проскальзываю. Сталин – не Сталин. Это какой-то маленький, жалкий, сморщенный, жёлто-седой старик. Он лишь бессильно разводит руками.

– Я вас понимаю, – говорю я и выхожу.

И всё-таки ночлег мне предложили. Но надо заплатить триста рублей. Вот на этом я и проснулся.

* * *

– Вам пора домой. Как это ни странно, я прошу вас меня покинуть.

* * *

Разбираю часть архива, привезённого из города. В это время В.А. у кардиолога. Вернулся он в хорошем настроении:

– Кардиологи встретили сердечно!

– Как я рада, что вам лучше! Я вяну от страха, когда вы плохо себя чувствуете, и вновь расцветаю, когда поправляетесь.

– Мы обогащаем друг друга нашими встречами.

Прощаемся.

– Мой друг... Спасибо за всё... за ласку... (вдруг, вспомнив, смеётся) и за работу...

* * *

В.А. отвечает на вопросы булгаковской анкеты для журнала «Советская литература» на иностранных языках.

Отметил свободу творчества, к которой сам стремился всю жизнь и которой, увы, не достиг.

Я пытаюсь возражать:

– Ваши читатели не поверят. То есть поверят в вашу искренность, но не согласятся с вами.

– Я не могу поставить себя рядом с Булгаковым, с Заболоцким. Это совсем другой класс.

* * *

Снова остаюсь в Переделкине. На этот раз мы слушаем музыкальную трагедию Евстигния Фомина «Орфей». Как-то я рассказывала о том, что бетховенское звучание впервые появилось в России ещё до Бетховена. В.А. заинтересовался, и я принесла пластинку. Имя Е. Фомина и его музыка стали для В.А. настоящим открытием.

Утром следующего дня В.А. взял том «Литературной энциклопедии», чтобы подробнее прочитать о драматической судьбе либреттиста Якова Княжнина.

* * *

25 февраля 1988 года

Ашхабад

Вениамин Александрович, дорогой!

Первый приступ письмописания я почувствовала ещё в самолёте, увидев сверху немыслимой красоты лукоморье. Потом была пустыня, испещрённая многочисленными следами рек и ручьёв (и когда они успели там протечь?), дальше показалось прозрачно-бирюзовое озеро, а в нём ядрышком ореха (по цвету и форме) островок, а вот какой-то лунный пейзаж с жёлтыми донцами безводных озёр. И вот тут мимо нас деловито проехало облако с радугой на горбатой спине. А ниже виднелась отара овец – кучевые облака (вид сверху). А вот и квадраты хлопковых полей – земля эта обитаема.

Я брожу по уютному, приземистому городу, который столько лет сопротивлялся моему с ним знакомству, впрочем не подозревая об этом.

Забредаю на базар, покупаю великолепную лепёшку, отщипываю кусочки и ем их, как когда-то на базаре Пушкин ел груши, «никем не стесняясь».

Только вернулась в гостиницу, стало темно (вдруг, сразу, по-южному). Устроила себе роскошный ужин: курага, лепёшка и кресс-салат. «Кутёж князей», да и только (это уже Пиросмани)!

До свидания, Ваша Лиля.

* * *

17 марта 1988 года

Утром иду от станции к сиреневому домику. Заборы украшены мохнатыми снежными гирляндами, тающими на глазах; под ногами лужи.

Встречаю В.А. во время прогулки в сопровождении его близкого друга, вдовы философа Валентина Асмуса Ариадны Борисовны.

При моём приближении В.А., поздоровавшись, говорит:

– Вы хорошая писательница.

– Вы, наверное, получили моё письмо из Ашхабада?

– Да. Оно доставило мне большое удовольствие. Небо написано широко и свободно. И о городе тоже.

– А кто вдохновил? Это от стремления поделиться с вами.

* * *

Снова дежурю в Переделкине. Слушали симфонические поэмы Чюрлёниса «Море» и «В лесу». Пришли к выводу, что в музыке автор более традиционен, чем в живописи.

В.А. был знаком с творчеством Чюрлёниса, по его словам, только по репродукциям и сожалел об этом.

* * *

25 марта в «Московских новостях» вышла статья О. Мартыненко «Над потаённой строкой», посвящённая рукописи В. Каверина, названной им «Эпилог».

Прочитав эту статью, директор издательства «Московский рабочий» Дмитрий Валентинович Евдокимов выразил желание опубликовать рукопись.

* * *

Я неделю отсутствовала, и В.А. встречает меня словами:

– Лиля, у нас все дела стоят!

– Секретаря гнать надо!

Приложив мои руки к своей груди, В.А. с улыбкой, но серьёзно отвечает на мою шутку:

– Я со своим секретарём расстанусь только вместе с жизнью!

* * *

С 4 по 6 июня 1988 года в Резекне проходили IV Тыняновские чтения, и В.А. – как один из инициаторов регулярного проведения научной конференции, посвящённой Ю.Н. Тынянову, и её постоянный участник – прибыл туда для участия в чтениях.

В.А. чувствовал себя неважно, и организаторы постарались обеспечить ему «щадающий режим» – прогулки на свежем воздухе в окрестностях города. В.А. наслаждался живописной природой Латгалии.

Ещё в Пскове он познакомился с журналисткой и краеведом Тамарой Васильевной Вересовой, она прибыла в Резекне и сделала множество фотографий, на которых В.А. запечатлён во время отдыха на природе, а также описала этот день в очер-

ке, посвящённом В.А. Каверину, в книге «В начале жизни школу помню я».

* * *

Месяц спустя мы уже были в Дубулты – снова гуляли по пляжу, бродили по знакомым тропинкам, говорили и смеялись, только вот сил у В.А. заметно убавилось...

* * *

О Шварце: Он был бесконечно выше меня по тонкости, по такту...

* * *

О Войновиче: Жаль его. Талантливый, умный, милый.

* * *

О Чаковском: Он блестящий организатор. Этого у него не отнимешь. «Иностранной литературой» зачитывались, когда он был редактором.

* * *

Во время принятия хвойно-морской ванны:

– Блаженство! И спать сразу хочется. Я себе представил фантастический рассказ: человек уснул в такой ванне, а проснувшись, обнаружил, что планета изменилась. Люди изысканно вежливы. Мужчины ходят с тросточками, женщины в высоких шляпах. Все очень приветливы.

* * *

Перед сном:

– Всё же самые сильные впечатления у меня со времён войны. Я когда просто лежу и думаю, вспоминается именно то время. Сколько ещё нерассказанного! Иногда обычная песня, «В лесу прифронтовом» например, вызывает яркие воспоминания – неожиданные встречи, совершенно неожиданные... Я вам когда-нибудь расскажу...

* * *

Утром подходят две женщины, мать и дочь.

– Какая вы счастливая. Вениамин Александрович держит вас за руку. И так целый день.

Говорят о любви к его книгам, к нему самому. В.А. тронут.

* * *

– Завтра я продумаю вариант, который вы записали. Я так привык работать, что долго ничего не делать не могу. Сам с собой обсуждаю. Я пока не придумал основную идею, стержень «Автопортрета». В романе «Перед зеркалом» – становление художника и человека, «Над потаённой строкой» – записи, свидетельство времени.

* * *

Говорим о Тютчеве – его жизненном пути, значении личной жизни, отношения к женщинам для его творчества, о необыкновенно точных и тонких наблюдениях, о том, что он, как это ни удивительно, не испытывал влияния Пушкина...

Разговор возник в связи с тем, что мы наблюдали необыкновенно красивый закат: «Лишь где-то на западе бродит сиянье...»

В.А. часто цитирует это стихотворение Ф. Тютчева. С ним связано и название книги воспоминаний, вышедшей в 1982 году, – «Вечерний день».

* * *

– Мне как-то странно и непривычно, что я такой старый и плохо хожу. В душе я чувствую себя молодым.

* * *

Нашу маленькую компанию снова украсила своим присутствием Мариэтта Чудакова. В разговоре с ней о Заболоцком и Гроссмане В.А. отметил, что В. Гроссман был тяжёлым человеком, мог незаслуженно обидеть. Как-то, придя к В.А., сказал: «Посмотрим, как живёт средний советский писатель!»

Мы с Мариэттой стали дружно доказывать, что имелось в виду «средний по доходам». Далее в разговоре В.А. согласился с мнением Мариэтты о сходстве образов Ромашки и Рогожина.

Речь зашла о статье Мариэтты, о том, что критика занимается не тем, чем надо, что некоторые критики так талантливо пишут о пустом (Л. Аннинский о Проскурине), что наносит вред литературе.

– Горький считал, что занятия литературой – высшая форма грамотности. В этом смысле Проскурин – результат литературной учёбы Горького, – говорит В.А.

В руках у Мариэтты томик стихов Георгия Иванова, упомянутого в разговоре в качестве третьеразрядного поэта. На вопрос Мариэтты, не виделся ли В.А. с Одоевцевой²⁴, он ответил, что не желает с ней видиться. Терпеть не мог её и раньше.

– Лживая женщина. В воспоминаниях много лжи. Как была душой, так и осталась. Я не желаю таким образом оживить дорогие мне двадцатые годы.

Я же, вспомнив стихи Г. Иванова «Над розовым морем...», спросила мнение В.А. о Вертинском.

– Талант огромной силы, но писал в жанре, который я не люблю.

Разговоры В.А. и Мариэтты Чудаковой были настолько пронизаны эрудицией, юмором, остроумием и взаимопониманием, что не было никакой возможности их записать или запомнить...

* * *

– Я давно хочу написать двойную жизнь – одна состоит из видений. Он в этом запутывается.

* * *

В.А. передаёт сюжет рассказа «Автопортрет».

– Тогда он берёт револьвер уснувшего брата и идёт убить её. Но застаёт её уже мёртвой... Я не объясняю причин её смерти.

Его арестовывают в этот момент, обвиняют в убийстве, судят и отправляют в лагерь. Потом это

²⁴ Одоевцева И. – настоящее имя – Ираида Густавовна Иванова (1895 – 1990), поэтесса, прозаик.

уже сломленный, спившийся, опустившийся человек. Я придумал такой поворот, потому что не могу убить человека!

– Благодаря этому вещь приобретает социальное звучание, вписывается в определённое время – осуждение невинного.
– Я это и искал.

* * *

О Викторе Некрасове:

– Прелестный был человек! Всегда что-то придумывал. Он взял с собой (в Ялту, кажется) кинокамеру, придумал пьесу, и все мы её разыгрывали.

* * *

21 сентября 1988 года

Хабаровск

Дорогой мой Вениамин Александрович!

Докладываю: скучать и хотеть вернуться я стала уже по дороге в аэропорт. А потом, продремав часа два в самолёте, я неожиданно проснулась. Оказалось, вовремя: прямо к началу свето-цветового спектакля – заоблачного восхода солнца. Сначала облака далеко внизу казались тёмной пашней, потом ледяными торосами студёного моря (даже разводы между ними напоминали полыньи). Но вот выкатился красный диск солнца, и вся эта многослойная толща холодного пара заиграла всеми оттенками розового и золотого цвета. Какими словами описать это движение, кружение масс, смещение, скрещение их путей? Восторг и благоговение!

А перед посадкой прямо рядом с самолётом возникла огромная снежная гора, похожая на Фудзи, парящая в воздухе. Такое облако!

...Город приятный, зелёный. Любуюсь спокойной красотой очень серьёзной реки с легкомысленно-амурным названием.

До свидания, сеньор мой. Будьте здоровы. Уж Вы постарайтесь, пожалуйста. Ваша Лиля.

* * *

29 сентября 1988 года

– Ваше письмо из Хабаровска доставило мне большое удовольствие. Вам надо писать.

– У меня нет творческого воображения.

– Надо писать документальную прозу. Вам удаются пейзажи.

– Но у меня в этом нет потребности.

– Тогда другое дело.

Невозможно описать выражение лица В.А., когда он произносит эту фразу. С одной стороны, уважение к нежеланию писать, с другой – такое недоумение...

– Вы не пробовали переводить?

Я недавно для собственного удовольствия и для своих друзей перевела несколько рассказов писателя Момо Капора.

– Покажите!

Я привезла рассказы «Дети небоскрёбов» и «Актриса». В.А. очень понравился первый рассказ. Он долго хохотал над ним. А когда я спросила о недостатках перевода, он задумался, рассмеялся и сказал:

– Нет в нём недостатков!

Второй рассказ не понравился. Он посвящён талантливой актрисе, которой справка о поступлении в Театральную академию нужна лишь для самоутверждения: доказать мужу, что она для него пожертвовала карьерой актрисы. В.А. такой подход не приемлет, и не было смысла спрашивать о качестве перевода.

* * *

8 октября 1988 года

В этот день в Переделкине состоялась беседа с директором издательства «Московский рабочий» Дмитрием Валентиновичем Евдокимовым о рукописи «Эпилога». После его ухода:

– Ангел во плоти! Это самое лучшее, что можно было мне сказать и сделать за всю мою жизнь!

Затем В.А. отметил его интеллигентность, сказал, что замечания Дмитрия Валентиновича умны и деликатны.

* * *

В больнице прогуливаемся по коридору. Пересказываю наш разговор с Наташей Зейфман:

– Меттер²⁵ о вашей помощи Зоценко сказал «содержал».

– Это преувеличение...

Всё же видно, что В.А. растроган.

– Я как-то сказал Федину: «Пошли ему тысячу рублей».

Он послал. Я был влюблён в него в юности. Это был эталон энергичного человека, – со смехом: – Однажды во время писательского собрания Брыкин (партийный деятель) стал говорить о том, что Тынянов пишет на исторические темы вместо того, чтобы освещать жизнь колхозов. Федин взял стул и пошёл к нему через весь зал со стулом в руках. Его удержали. Брыкин перепугался.

Красавец был! А что из него сделали?

* * *

19 апреля 1989 года Вениамину Александровичу Каверину исполнилось восемьдесят семь лет. В тот день я не смог-ла выбраться в Переделкино, но у В.А. побывала приехавшая из Пскова Тамара Васильевна Вересова. Она сфотографировала именинника в кругу его родственников, сама снялась с ними. Думаю, это последние фотографии Каверина – жить ему оставалось менее двух недель...

Умер В.А. в ночь на 2 мая от сердечного приступа, в кардиоцентре.

Во время гражданской панихиды в ЦДЛ о нём ёмко и точно сказал Фазиль Искандер: «Жизнь и творчество Вениамина Александровича Каверина доказывают, что в России можно жить долго, столь же долго оставаясь хорошим писателем и порядочным человеком».

Не знаю, делал ли кто-то ещё фотографии во время похорон В.А. Каверина – я видела только фото, сделанные Т.В. Вересовой, фотолетописцем последних лет его жизни.

Гроб с телом автора «Двух капитанов» несли на плечах юные моряки, они же после погребения прошли мимо могилы

²⁵ Меттер И.М. (1909 – 1996) – русский писатель.

парадным шагом под звуки «Варяга». Трогательное и незабываемое зрелище!

* * *

25 октября 1989 года Г.Ф. Николаеву²⁶

Дорогой Геннадий Философович!

...Хочу поблагодарить Вас за ту радость, которую Вы доставили Вениамину Александровичу своим письмом. Оно пришло недели за две до его смерти. Вениамин Александрович целый день думал и говорил о нём, всем его показывал с гордостью. Особенно дорого ему было то, что письмо содержало краткий критический разбор его романа. Он сетовал, что критики обходят молчанием его произведения.

Ещё раз спасибо. Пусть Вас утешает мысль, что Вы подарили Каверину одну из его последних радостей.

С уважением, Лилия Наумовна Белинская, секретарь В.А. Каверина.

* * *

22 декабря 1989 года

Сербия

Дорогая моя матушка.

Недавно мне удалось раздобыть книгу господина Вениамина «Два капитана», вероятно, первое издание на сербском. Прочитал её с необычайным удовольствием. Своей дорогой и незабываемой матушке желает истинного и непреходящего добра всегда преданный сербский сын Досифей.

* * *

20 июня 1990 года

Онега – Москва

Вениамин Александрович, дорогой!

Хочу рассказать Вам о поездке на Соловки. Ведь это ничего, что Вас уже нет? Думаю, Вы знали, что останетесь со мной, пока я жива.

²⁶ Николаев Г.Ф. – главный редактор журнала «Звезда».

Из Онеги мы плыли на Соловки на маленьком теплоходе. Я думала о тех, кого везли сюда в трюмах... Неискупимый грех!

...И вот, подобно Китежу, вынырнули из моря купола обители... Два дня мы прожили на острове в кельях, где раньше жили монахи, потом заключённые... Их присутствие я чувствовала всё время нашего пребывания на Соловках. Душа сочится болью...

«Строители» нового мира с маниакальным упорством крушили создаваемое веками. Какие души надо иметь, чтобы не почувствовать это чудо? «Легавые души, дырявые души!» Косматые души!..

В Кремле, конечно, многое сделано реставраторами. Но глазу пока ещё больно видеть следы разорения. Не хочется заканчивать письмо на такой грустной ноте, поэтому я расскажу об одной радости, ожидавшей нас по возвращении в Онегу.

Саги достоин крутобокий Кий-остров, убежище патриарха Никона (правда, он тогда ещё не был патриархом). Несколько часов мы посвятили поездке туда.

Я очень соскучилась. Спасибо Вам за то, что Вы были и есть в моей жизни.

Ваша Лиля.

P.S. Мои письма Вениамину Александровичу отражают естественное желание поделиться впечатлениями со старшим другом, душевно близким мне человеком. Эти письма писали сами себя. Позже я побывала во многих странах, но источник вдохновения стал уже недостижим.

Конечно же, Вениамин Александрович мне писем не писал, но я храню как богатство подаренные им книги с автографами. Если их сложить в хронологическом порядке, то можно проследить развитие нашей с ним дружбы. В начале моей деятельности в качестве секретаря Вениамин Александрович благодарит за работу «помощника и друга в знак глубокой симпатии с недавней, но горячей привязанностью», год спустя он дарит книгу «дорогому другу, украшающему мою жизнь, с любовью». Мне особенно дорога надпись на обороте фотографии: «Дорогой, милой Лилечке на память о счастливых днях на Рижском взморье – с признательностью и нежностью. В. Каверин». Спустя ещё год Вениамин Александрович дарит своему секретарю книгу «с неизменной, до конца моих дней любо-

вью». «Новое зрение. Книга о Ю. Тынянове» была написана в соавторстве с Владимиром Новиковым. Подаренный мне экземпляр хранит автографы обоих авторов. «Дорогому другу, бесценному помощнику Лилечке с благодарностью за самый факт её существования. В. Каверин. С уважением присоединяюсь. Вл. Новиков». В. Каверин умел дружить равноправно – на одной из книг надпись: «Родной Лилечке, другу и помощнику, без которой автор этой книги не может представить себе ни жизни, ни работы...»

Последнюю книгу я получила в подарок от Вениамина Александровича 29 апреля 1989 года, в нашу последнюю с ним встречу. Это была незадолго до того вышедшая из печати повесть «Силуэт на стекле», которую он мне продиктовал. Надпись короткая: «Моей Лиле, преданому другу с любовью. В. Каверин». И изменившийся почерк, и написанное с одним «н» слово «преданному» говорят о плохом самочувствии Вениамина Александровича. Через два дня его не стало...

1989, 1999 гг.
Москва



Сербский монах о. Досифей. 1987 г. Фотограф неизвестен.



Чтения, посвящённые памяти Ю.Н. Тынянова и В.А. Каверина в Пскове. Осень 1989 г. Экскурсия в Изборск. Справа налево: Л.Н.Белинская секретарь В.А. Каверина; Т.Ю. Хмельницкая, литературовед из Ленинграда; С.С. Гейченко, директор Пушкинского заповедника. Фото Тамары Вересовой.



Там же. Справа налево: Т.Ю. Хмельницкая, Л.Н. Белинская, М.О. Чудакова. Фото Тамары Вересовой.



Псков. 25.10.1986 года. 200-летний юбилей школы № 1 им. Леона Поземского (бывшей гимназии, которую окончил В. Каверин). Посещение школьного музея. Фото Олега Александрова.



Псков. 26.10.1986 года. Псковская областная детская библиотека, отдел искусств. Справа налево: Н.П. Фёдорова, библиотекарь отдела искусств; А.А. Михеева, директор библиотеки; Н.В. Каверин (сын В.А. Каверина); В.А. Каверин; Л.Н. Белинская; З.М. Маркова, сотрудник библиотеки; А.Н. Бовт, зав. Гороно. Фото Олега Александрова.



Псковская областная детская библиотека. 26.10.1986 года. Центральная лестница. Справа налево: А.Н. Бовт, Н.В. Каверин, две неизвестные сотрудницы библиотеки, А.А. Михеева, В.А. Каверин, Л.Н. Белинская. Фото Олега Александрова.



Псков. 26.10.1986 года. У входа в областную детскую библиотеку. Директор библиотеки А.А. Михеева показывает В.А. Каверину место, где должен быть воздвигнут памятник «Два капитана». Фото Олега Александрова.



Псковская областная детская библиотека. 26.10.1986 года.
В.А. Каверину представляют проект памятника «Два капитана». Справа
налево сидят: Н.В. Каверин; В.Л. Бурыйгин; архитектор (Ленинград);
А.А. Михеева; В.А. Каверин; Л.Н. Белинская. Стоят: А.Н. Бовт; З.М. Маркова;
А.Н. Хлипochenko, ст. библиотекарь; Л.И. Рябова, зав. Отделом обслуживания
младших школьников. Фото Олега Александрова.



Псковская областная детская библиотека. 26.10.1986 года. Встреча с читателями-земляками. На столе подарок В.А.Каверина детской библиотеке – восьмитомное собрание сочинений. Фото Олега Александрова.



Дубулты. Июль 1987 года. В.А.Каверин и Л.Н. Белинская.
Фотограф неизвестен.



Дубулты. Июль 1988 года. Справа налево: М.О. Чудакова, В.А.Каверин и Л.Н. Белинская. Фотограф неизвестен.



Резекне. Июнь 1988 года. IV Всесоюзные Тыняновские чтения. Прогулка в окрестностях города. На берегу озера Адамовас. Справа налево: А.В Уланова, организатор общественного музея Ю. Тынянова в средней школе № 6; В. А Каверин; Я.П. Рожукалнс, зав. Резекненским районо; Л.Н. Белинская. Фото Тамары Вересовой.



Резекне. Тыняновские чтения. Прогулка в окрестностях города. В.А.Каверин, Я.П. Рожуканс. Фрагмент фотографии. Фото Тамары Вересовой.



Резекне. Тыняновские чтения. Прогулка в окрестностях города. Справа налево: Т.В. Вересова, журналист и краевед из Пскова, В.А.Каверин. Фрагмент фотографии. Затвором фотоаппарата Т. Вересовой щёлкнул Я. Рожуканс.



Резекне. Тыняновские чтения. Прогулка в окрестностях города.
На озере Адамовас. Фото Тамары Вересовой.



Переделкино. Сентябрь 1988 года. Справа налево: А.М. Гуткина, экономка
В.А.Каверина; В.А. Каверин; А.Б. Асмус, вдова философа В. Асмуса; Л.Н.
Белинская. Фото Т.В. Вересовой, было опубликовано в книге «В начале жизни
школу помню я...» (воспоминания Льва Зильбера, Вениамина Каверина,
Августа Летавета, Николая Нейгауза, Юрия Тынянова).
Составитель Т. Вересова. Москва, 2003.



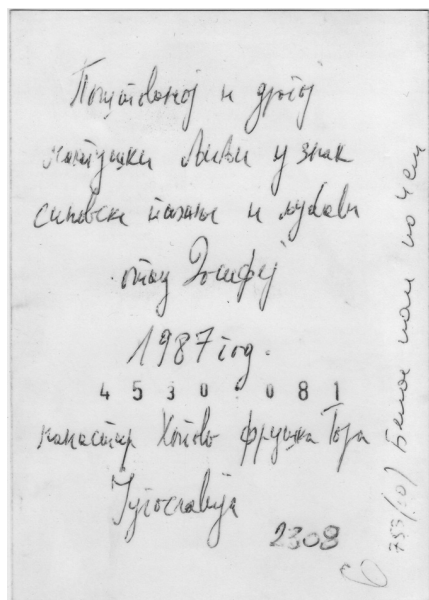
Перedelкино. Сентябрь 1988 года. Справа налево: В.А.Каверин, Т.В. Вересова. Затвором фотоаппарата Т. Вересовой щёлкнула Л.Н. Белинская.



Перedelкино. 19 апреля 1989 года (день рождения В.А. Каверина, ему исполнилось 87 лет). Справа налево: Е.В. Заболоцкая (вдова поэта Н. Заболоцкого); В.А.Каверин; А.М. Гуткина; Митя, правнук В.А. Каверина, внук его сына; Н.Н. Каверина, дочь Е.В. Заболоцкой, жена Н.В. Каверина; Т.В. Вересова. Затвором фотоаппарата Т. Вересовой щёлкнул водитель.



Москва. Начало мая 1989 года. Похороны В.А. Каверина.
Фото Тамары Вересовой.



Обратная сторона фотографии отца Досифея. Надпись по-сербски:
 Поштованој и другој матушки Љиљи у знак синовске пажње и љубави.
 1987. отац Доситеј [Уважаемой и дорогой матушке Лиле в знак сыновнего
 внимания и любви. Отец Досифей.]



Памятник Два капитана. Скульптор М. Белов, архитектор В. Бурьгин
 (Ленинград). Памятник открыт в 1995 году.

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН

СЛАВОТЕРПЕЦ²⁷

*Мудрец бежит от славы, как от бесчестья.
Лао-Цзы. Канон Пути и Благодати*

Приехали

Из Италии я приехал поездом. На вокзале в Париже нас встречал Максимов. С ним были Ниссены, люди первой эмиграции, принимавшие участие в его судьбе в Париже, а потом и в моей. Ниссены приезжали к нам в Рим на машине, возили по городу и вслед за Максимовым убеждали остаться в Париже, за что я им по сей день благодарен.

Я понял, что приехали они на метро, потому что Максимов поддразнивал небедных Ниссенов.

– Теперь я вижу, как стать богатым! Экономия во всем, начиная с метро: ехать вторым классом!

Ниссены мягко отшучивались.

В то время в метро существовали классы. Единственный в поезде вагон первого класса был всегда полупустой – билет в него стоил дороже, но для людей с достатком это было практически незаметно. С тех пор борцы за бесклассовое общество добились отмены этой маленькой парижской приметы.

Максимов взял для нас с вещами не такси, а какой-то огромный лимузин без счетчика. Ниссены долго сговаривались с шофером о цене, и вот мы двинулись к центру Парижа.

Сена встречала Париж, и я с Сеной вместе. Мелькали неразводимые мосты на мощных каменных устоях, смычка левого берега с правым. Последний, через который мы переехали, был типично ленинградский, русские фонари как картежные трёфы.

²⁷ Из трёхчастного романа «Страна Эмиграция», готовящегося к печати в издательстве «Эхо», Париж.

– Да-да, вы не ошиблись! – угадал мои мысли Ниссен.
– Это мост Александра III, подаренный Парижу Николаем II в честь заключения франко-русского союза.

– Похож на наш Кировский, – заметил я.

– То есть на Троицкий! Точная копия. Они строились одновременно.

День был октябрьский, осенний, с мелким питерским дождичком, но теплее. Париж встречал меня Ленинградом, хотя незабвенная слякоть родимой страны не могла тут набрать своей полной оглушительной силы. И еще одно отличие от Питера или от Вены и Рима, через которые я только что проехал: Париж удивил нас своей монохромностью. Из цветного фильма мы пересели в черно-белый. Все дома были окрашены в один серовато-бежевый оттенок с жемчужным отливом. Ниссенсы поразили меня тем, что хвалили этот оттенок с особой гордостью. Мне понадобилось не меньше трех лет, чтобы с ними согласиться – зато полностью!

Вечером нас принимал Максимов. Таня устроила настоящий парижский ужин с красным вином, с одной, но замечательной закуской, без супа и с одним рыбным блюдом, а также с сыром напоследок и замечательным фруктовым тортом к позднему чаю.

– Из соседней булочной, – заметила она.

Было нас за ужином три человека с женами – к Максиму пришел со мной знакомиться Синявский. Про Синявского мне много чего порассказали в России неприятного, но мне понравилась его статья в последнем «Континенте», а его проза обещала стать со временем интересной. В конце концов, мы все когда-то боролись за его свободу, а в остальном я надеялся сам разобраться на месте. Ниссенсы деликатно от приглашения в этот раз уклонились.

Ниссенсы нас и приютили на первые три недели, а уже с ноября сняли нам квартиру на улице Лористон, как раз напротив Максимова. Я прожил там около года и открывал Париж и французскую жизнь оттуда. Улица в тихом районе, недалеко от дома, где провел свои последние годы Виктор Гюго, мне очень нравилась, хотя она запомнилась парижанам по другому поводу: в войну там размещалось гестапо.

На следующий вечер меня ждал Эмиль Коган, мой милый московский первопечатник (последние годы отчего-то надувшийся на меня, как мышь на крупу, без всякой видимой на

это причины), который когда-то отважно тиснул некоторые мои секреты в московской газете «Последний комсомольский звон», а потом уехал во Францию и немало сделал здесь в мою защиту. Помню их большую квартиру в парижском пригороде, низкие потолки современного дома в контрасте с коллекционной антикварной мебелью. Запомнилась моя первая самостоятельная поездка в метро. Эмиль меня долго наставлял по телефону, как туда войти, какую монету опустить в щель пропускного автомата и как выбирать направление. Я ни разу не ошибся и доказал, что могу стать горожанином новой столицы.

Я скоро понял, что Париж – это Вавилонская башня, с той только разницей, что все говорят по-французски и друг друга понимают поверх акцентов. С удивлением обнаружил я, что знаю про Париж куда больше, чем про тот же Вечный город. Откуда? Из русской литературы? Из переводной французской? Инвалиды, площадь Согласия, Вандомская колонна, площадь Звезды, Гранд-опера, Сен-Жерменское предместье, Бастилия – Париж навсегда застрял у нас в ушах. Перевалив за сорок, я наконец увидел город, где мне жить и в чьей земле упокоиться. Земную жизнь пройдя до половины? Дай-то Бог!

Через неделю заглянул я в нашу русскую церковь на улице Дарю. В церкви было много народу – по поводу праздника Покрова Богородицы. Мощно и слаженно пел церковный хор, волнами расходился с детства знакомый запах ладана. *«Да не отыдет от лика моего тощ и неуслышан...»*

Казалось, ничто не изменилось и я опять в моем городе.

Но тут молеельщики упали на колени и вывернули к церковному своду изнанку обуви с хорошо починенной подошвой, медными, не истонченными от долгой ходьбы подковками, чистыми, как нехоженные, овальными набойками на подошвах и на каблучках, полукругом выступающих из свежего тела туфли. В последний раз весной, в кладбищенской церкви на Охте, где когда-то отпевали мою мать, видел я при таком же коленопреклонении воздетые к небесам подошвы валенок с полустертыми галошами, грязные кеды и ботинки на толстой микропористой подошве с дырой посередине, идущей вглубь до толстого носка-самовяза – и дальше, до самого сознания, которое щемила жалость к этим людям.

Долгие годы снилась мне ночами надрывающая сердце родимая глушь, и всегда с одной мыслью: дать ей возможность увидеть мир.

Надо было привыкать к другому укладу жизни. Конверты на почте не продают, только в табачных лавках или в канцелярских магазинах. Билет на транспорт стоит столько же, сколько фунт яблок, и, как писал мне в Питер Яков Виньковецкий, уехавший раньше, нет смысла ломать себе голову над решением задачи: то ли билет стоит дорого, то ли яблоки тут дешевле пареной репы.

Прежде всего мы заметили, что на улицах все курят, даже женщины, и, приземлившись на Западе, русские курильщицы тут же вышли в город с сигаретой в зубах – выражать собой свободу.

Зимой в овощных магазинах – как летом: любые ягоды и фрукты. Пройдет время, и опыт покажет, что ягоды все-таки лучше в сезон. Зимние, привозные, и дороги, и почти лишены настоящего вкуса.

Северные мужчины, мы не сразу поняли, что майку под рубашку в Париже надеть невозможно, даже зимой. Длинные кальсоны не найдешь днем с огнем, во французском языке я даже не знаю для них выражения («длинный Джон» – это по-английски). В Париже круглый год весь народ ходит без шапки, но это нам не указ, я начал все-таки зимой носить хотя бы кепку. Сдуру купил по приезду теплые высокие ботинки на меху, но надел всего два раза. Провалились они у меня лет пять, а потом я отдал их клошару, местному бомжу.

Поведение парижан не такое, как у русских. В Париже поздним вечером друг другу не звонят, для этого есть целый день. Никто не заглядывает «на огонек» даже к близким, никому не приходит в голову сказать: «Мы тут проезжали мимо и решили зайти, чтоб с тобой покалякать». Тут люди зовут к себе домой очень редко. А зачем? Встретиться, обмолвиться? Для этого повсюду есть кафе, где можно просидеть три часа над одной чашкой кофе (или чая – только надо знать, что чай тут много дороже, чем кофе и даже вино). На вопрос «Как дела?» тут не принято рассказывать свою подноготную. И все это многим приедем из России эмигрантам не нравится.

– Буржуи! – говорят они о французах.

– Совсем офранцузились! – говорят они о русских, если те ведут себя сообразно здешним обычаям.

Вновь приехавшим эмигрантам помогают – кто деньгами, кто работой, кто дружбой, кто мебелью. У французов доживают в подвалах предыдущие шкафы, столы, кровати, печ-

ки. Едва я снял квартиру, мой первопечатник Эмиль подарил мне хороший круглый стол из орехового дерева. Правда, лет через двадцать он его востребовал обратно – цены на антиквариат пошли в гору. Наверное, он поступил правильно: я к тому времени уже встал на ноги. И эта разумность тоже признак здешней рассудительной жизни.

Еще из Рима я написал в Канаду замечательным людям, Юрию и Марине Глазовым, передал им русские приветы. В России я даже не был с ними знаком. В ответ я получил чек на полтораста долларов, которых я и не думал просить и которые они потом обратно взять не захотели – отдайте следующему. Я об этом не забыл и не раз передавал вновь прибывшим.

Максимов никогда не давал мне заплатить ни за кофе, ни за пиво. В кафе всегда платил он – на правах старшего и старшего. Еще один урок на будущую жизнь.

Несколько месяцев давал нам пособие Толстовский фонд, созданный когда-то дочерью писателя Александрой Львовной. Пособие было небольшое, но полезное. За ним нужно было приехать, и его вручала нам не дрогнувшей рукой пожилая женщина из первой эмиграции, которая каждый раз нам грустно говорила:

– Вам хорошо! Вам не нужно управлять такси...

Так пошла моя парижская жизнь, обычная жизнь литератора, перебравшегося в новый город. Постепенно оборудовалась квартирka. Вдоль стены стала на свои места скоробьющаяся посуда. В обед на кухне бурлила и пускала пары заново купленная кастрюля, счастливая своим почти готовым супом, не то полуфранцузским, не то полурусским. Из ближайшего магазина приносились разные соки и выжимки. Красное вино становилось спутником вечерней еды. Постепенно выяснялось, какое мясо нужно покупать и как его варить или жарить по французским обычаям, но чтобы все же угодить сложившемуся вдалеке от здешних мест упрямому детскому вкусу. По утрам либо Максимов, либо Наталия Михайловна Ниссен приглашали меня в кафе – приучать к парижскому укладу.

Нужно было думать о литературе. Прежде всего, получить какие-то документы для встречного полицейского, потом собрать рукописи, переданные на Запад тайком и с большими проблемами. Часть пришла в израильское посольство. Эта часть была в хорошем, машинописном виде, на бумаге. Не без проволоочки и некоторой административной волокиты в конце

концов я получил эти рукописи. Хуже было с микрофильмами. Они поступали постепенно, от разных передатчиков на Запад, я их проявил, но предстояло перебелить на машинке не одну сотню листов. Некоторые страницы читались плохо, особенно где-нибудь в углу, где как раз скрывалось самое важное или интересное. Кое-что я так и не перепечатал до сих пор. Хрустящие, ломкие, стремящиеся раскрутиться и занять полкомнаты, эти фото пленки долго ездили со мной с квартиры на квартиру, а теперь я их больше не вижу и не знаю, где искать. Впрочем, далеко не все из написанного в шестидесятые годы мне хотелось вытаскивать теперь на Божий свет. Не знаю, лучше или хуже я тогда писал, но дорого яичко к Христову дню – именно тогда мне хотелось получить их в печатном виде, именно тогда это могло повлиять на мою дальнейшую работу. Теперь я ко многому охладел, начинал перечитывать и терял интерес, так что многие сотни страниц так и остались ненапечатанными. Тем более что некоторые рукописи я с собой просто не взял. Значит, такова их судьба. Надо было начинать почти с начала.

В те годы русского писателя на Западе ждали некоторые заработки, связанные с литературой.

Максимов хотел меня взять в «Континент» на должность редактора. Я честно думал, что редактор вышел бы из меня на славу. Я прошел через жизнь литкружков, где мы считали долгом мысленно перекраивать фразы товарища, а наши мудрые наставники умело сдерживали нашу прыть. У меня был опыт работы с графоманами – мне давали на рецензию рукописи, пришедшие в журнал «самотеком». У меня был опыт работы с чужими сценариями на киностудиях. Я вспоминал Бабеля: *«Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом»*. Дело было только в том, что место редактора в «Континенте» было уже плотно занято и с сидящим на нем человеком я приятельствовал еще с Москвы. В Москве он даже порывался подарить мне вакантный пиджак – как оказалось, оставленный на родине этого пиджака самим срочно высланным Максимовым. Я не мог сживать с места человека, который пытался надеть на меня пиджак, от которого я к тому же решительно отказался. Максимов меня успокаивал: редактор работает в двух местах, и он, Максимов, постарается выговорить ему прибавку в газете «Русская мысль», чтобы убедить переметнуться туда окончательно. Но прежде чем переселение состоялось, из России с большими тру-

дами выпустили заслуженную диссидентку, которая еще в Москве нацелилась на это место и легко взлетела на него на командирском письме Солженицына. Диссидентка не отличалась щепетильностью, которая помешала мне принять теплое место из-под моего знакомого. Возможно, она, в отличие от меня, не была связана дружеским предложением пиджака с хорошего плеча, от которого я отказался.

Все это не имело для меня значения, тем более что тот же Максимов нашел для меня другие применения. Во-первых, он сделал меня чем-то вроде казначея фонда друзей «Континента». Это мне давало небольшой, но постоянный месячный доход. Во-вторых, на американской радиостанции «Свобода» был исследовательский отдел. Вновь прибывшему давали слушать передачи, уже прошедшие в эфир, и он писал разборчивым почерком, что он думает об их интересе и пользе для свободной русской мысли за железным занавесом. Я сразу же предупредил, что никогда в России этой станции не слушал, потому что у меня никогда не было приемника. У нас в доме на стене висела так называемая радиоточка, круглый большой репродуктор из черного дребезжащего картона. Репродуктор давал нам слушать по проводам то, что нужно знать всему народу, не больше и не меньше. В картоне зияли несимметричные дырки и проколы, и я мальчиком думал, что его прорвали мощные радионные голоса с государственным металлом на торжественных нотах. Подозревал я также, что одной из причин этих дырок была постоянно звучавшая музыка Чайковского, который удивлял меня тем, что в конце каждой большой музыкальной вещи раз по пять или семь выходил на свою собственную коду, поднимался на самые высоты громкого звука и опять опадal, не в силах кончить. Каюсь: я в те годы не любил Чайковского и стал ценить его только здесь, на расстоянии возраста и пространства. Естественно, что мой дрожащий репродуктор станцию «Свобода» не ловил и не озвучивал. Но это оказалось не помехой.

То была самая странная, самая условная работа из всех, что мне пришлось делать в жизни. Меня ставили в условное положение: а вот если бы я жил в России и если бы (вторая условность) мог услышать эту передачу, которую каким-то чудом (бы) не заглушили (новая условность), то как бы я к ней отнесся и стал ли бы я после этой передачи свободнее в своих мыслях о мироздании и устройстве тварного мира. Я слушал передачи,

писал крупным почерком отзывы, и за два-три часа, проведенных в красивом старинном особняке на бульваре Сен-Жермен, мне платили достаточно, чтобы прожить дня три-четыре. Сами передачи я тоже воспринимал как условность, я даже не был уверен, что они действительно раздавались в советском эфире и достигали каких-то ушей внутри России. И то сказать, многие передачи были странными. Мне почему-то давали слушать только те, где описывалась западная жизнь. Поначалу я даже обрадовался, я жаждал узнать, как живут тут люди, какие у них проблемы и возможности. Но авторов передач привлекали малоинтересные и даже непонятные мне аспекты западной жизни. Помню подробную передачу о введении в одном из банков одинаково окрашенных галстуков для всех его клерков. Я слушал рассуждения о том, что это уравнивает всех, от кассира до президента, что это дисциплинирует недобросовестных. А главное, клиент сразу видит, в какой банк он попал. Что я мог написать в моей рецензии? Прежде всего, мы в те годы в советской России совершенно не представляли себе, что такое банк. Когда Бродский писал *«деньги прячутся в банках»*, я скорее видел банки из-под малосольных огурцов или патиссонов. Я полагал, что уравнивать людей могут только равные права и похожая зарплата. А в какой пришел банк, можно видеть на вывеске, а не на галстук кассира. А уж о различии между банками ни я, ни мои соотечественники не имели ни малейшего представления, а потому никто не мог (бы) понять, зачем нужно знать, куда ты заявился. Словом, на большинство передач я откликался негативно, хотя честно старался аргументировать, чтобы оправдать свою получку. Это моих работодателей не устроило, но они вежливо дали мне поработать еще пару месяцев, что я понял как первое серьезное отличие Запада.

Был еще американский центр распространения русских зарубежных изданий. Там вновь приехавший мог написать несколько рецензий, рассказать, какие книги особо ценились в его окружении и почему. Это было уже по моей части. За такие рецензии честно благодарили – и деньгами, и книгами. И наконец, Максимов привел меня на радио «Свобода». После первой беседы в открытом эфире дали мне возможность выступать еженедельно. Я выбрал библиографию, обзор по темам всей литературы русского зарубежья в разных областях и в разные годы, от революции до моего к ней приезда. Эмигрантских изданий было множество, от Франции и Чехии до Китая, США,

Австралии и Латинской Америки. Хотя и сам я многое узнавал, задача оказалась непростой, приходилось просиживать часы за книгами, не всегда интересными, иной раз в библиотеке, но это была уже целая зарплата, на которую можно, хоть и скромно, прожить. У меня и там не обошлось без неприятностей. Через пару передач меня вызвал директор и попросил, к моему глубокому удивлению, не называть Польшу, Чехословакию и других советских прихлебателей «соцстранами». Он сказал: «Здесь называют социалистическими такие страны, как Швеция. Там у власти действительно стоит социалистическая партия. А это страны коммунистические. Так их и надо называть». Я представил себе Бориса Вахтина, который случайно услышит мою передачу и с горечью подумает, что я тут же поменял язык в угоду новым обстоятельствам, и отказался. Я вообще перестал называть эти страны общим именем.

Еще в Вене заключил я договор на мою первую зарубежную книгу с берлинским издательством. Денег мне хватило на пару месяцев хорошей жизни в Риме, на переезд и устройство в Париже и еще на полгода. В «Континенте» ждал меня аванс за «Историю женитьбы» – еще два месяца. «Континент» платил хорошо, но выходил всего четыре раза в год. Вскоре появился израильский журнал Перельмана «Время и мы». Перельман гордился, что его авторы получают какой-никакой, а все же гонорар. Все эти издатели понимали, что литератор должен получать за свой труд, чтобы мог писать дальше во славу литературы, как он ее понимает.

Парижская «Русская мысль», тогда еще настоящая эмигрантская газета, не то что нынешняя, которая финансируется из самых грязных московских источников, платила небольшую сумму за каждую публикацию. Но однажды она напечатала восемь моих рассказов и заплатила как за один – получилось по чашке кофе за рассказ. Для меня тут был вопрос не только денег. Эта мелочная хитрость мне была оскорбительна. Едва терпимые, а то и гонимые властями на родине, мы все же были избалованы интересом и уважением старших собратьев по перу. Если нас чудом публиковали, нам платили сполна. Я перестал печатать прозу в «Русской мысли».

Несмотря на мелкие огорчения, писателю рисовалась впереди небогатая, довольно сложная, но вполне нормальная литературная жизнь. А дальнейшее зависело от него самого – заключить договоры на иностранные переводы, написать но-

вые книги, найти работу редактора или профессора. Писателя окружали советчики, шептавшие в оба уха: срочно напиши воспоминания о политических проблемах на родине (многие именно на этом и взошли) или пиши о своих новых впечатлениях от Запада. Я хотел писать только то, что хотел, и приспособливаться не желал, да и был неспособен.

И я видел примеры – тот же Бродский, никогда ничего не написавший ни о своих арестах, ни о ссылке. Одно дело – честная литературная поденщина, другое – расчетливые поделки вместо собственных книг. Литературной работы мне пока вполне хватало, а потом будет видно, думал я.

В свое время Иосиф Бродский мне писал из Америки, в одном из редких писем, дошедших до тогдашнего Ленинграда: *«Перемены нас делают только хуже, а нам дальше ехать некуда, так что и перемены против нашего бессильны. Это и называется зрелость – стоять как нехорошее голое дерево, трепаться на ветру, пока не пошел на дрова».*

Я уже знал, что грусть у Иосифа экзистенциальная, к обстоятельствам жизни имеющая отношение косвенное. Мне тогда его слова показались даже некоторым кокетством великого человека. Я пока не видел угрозы, даже отдаленной, мне трепаться на ветру и ничего не имел против того, чтобы пойти на хорошие дрова для культурного камина, за которым стоит огромная древняя мировая культура.

Но потом все это резко сломалось.

Началась другая жизнь – и слава Богу!

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ**«ЧТОБЫ ТЕНЬЮ ВОЙТИ
В ЭТИ СЛАБЫЕ ТИХИЕ ТЕНИ...»****История одного перевода**

Много лет назад, как обычно посещая родителей в их манхэттенской квартире, я случайно увидела английский стихотворный текст.

Начав читать, я сразу была охвачена чувством, уже давно знакомым по так любимому мной русскому оригиналу, чья суть с дивной непосредственностью и без искажений перелилась в другой язык.

Это было одно из самых замечательных стихотворений Александра Межирова – «Я начал стареть, когда мне исполнилось сорок четыре...».

Английского отец не знал, прочитать перевод, лежащий у него на столе, не мог, хотя всегда ценил высокие таланты переводчика и его блестящее знание языка – в конце двух распечатанных на принтере листов стояло:

Лев Наврозов Нью-Йорк 1993

Перевод был полным соответствием музыкальной пластике, ритму, настроению, тону самого стихотворения. Так перевести мог только поэт. Лев Наврозов безошибочно повторил этот неповторимый упоительно-тусклый тон речи, его как бы безразличную интонационную отстранённость от повествования, достигнув почти невозможного эмоционально-звуковым с ним слиянием.

Завораживающая монотонность интонации строк.
Великая идея смирения.

Поражение своё,
преждевременное постаренье
Полубил...

Перевод был сделан не по заказу, а по свободному желанию переводчика и никогда не предлагался в какие-либо журналы или сборники. Так он и лежал где-то среди бумаг отца долгие годы, затерянный в грудах рукописей. Но мне всегда было жаль пропажи, и постоянно мучили желание и необходимость найти его. Текст перевода был потерян и Львом Наврозовым.

И вот, наконец, – недавняя счастливая находка!

Сообщив о ней Льву Андреевичу, я спросила, как он выбрал для перевода «Я начал стареть...» – именно это, единственное.

– Обычно я читаю стихотворений пятьдесят, – пояснил он, – отбираю из них тридцать. Из тридцати – десять. Из десяти – только одно.

«И вновь из голубого дыма / Встаёт поэзия, – она / Во веки неперевода, / Родному языку верна» – написал когда-то А. Межиров.

И всё же бывают редкие исключения, одно из которых я предлагаю вниманию читателей.

Перевод Льва Наврозова публикуется впервые.

*Зоя Межирова
Нью-Йорк, лето 2011*

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

* * *

Я начал стареть,
когда мне исполнилось сорок четыре,
И в молочных кафе
принимать начинали меня
За одинокого пенсионера,
всеми
забытого
в мире,
Которого бросили дети
и не признает родня.

Что ж, закон есть закон.
Впрочем, я признаюсь,
что сначала,
Когда я входил
и глазами нашаривал
освободившийся стол,
Обстоятельство это
меня глубоко удручало,
Но со временем
в нём
я спасенье и выход нашёл.

О, как я погружался
в приглушённое разноголосье
Этих полуподвалов,
где дух мой
недужный
окреп.
Нёс гороховый суп
на подрагивающем подносе,
Ложку, вилку и нож
в жирных каплях
и на мокрой тарелочке –
хлеб.

Я полюбил
эти
панелью дешёвой
обитые стены,
Эту очередь в кассу,
подносы
и скудное это меню.
– Блаженны, –
я повторял, –
блаженны,
блаженны,
блаженны... –
Нищенству этого духа
вовеки не изменю.

Поражение своё,
преждевременное постаренье
Полюбил,
и от орденских планок
на кителях старых следы,
Чтобы тенью войти
в эти слабые, тихие тени,
Без прощальных салютов,
без выстрелов.
без суеты.

ALEKSANDR MEZHIROV

* * *

I began to grow old
when I turned forty-four,
And at the eating place on the corner,
I was already taken
For a lonely retiree,
forgotten
by every soul
on earth,

Forsaken by his children
and ignored by the rest of his kin.

Well, this is the law of life, isn't it?
Yet I confess
that at first,
Whenever I entered the place
and looked around
for a vacant table,
This circumstance depressed me.
But later
I found in it
the emergency exit in the building called life.

Yes, I submerged
into the muffled hubbub of voices
Of that place
in almost a cellar,
where my ailing spirit
was strangely healed,
As I carried a pea soup
on a quavering piece of plastic,
A spoon, a fork, and a knife,
still dripping,
and a hunk of bread on a plate –
also wet.

I came to love
those
crudely paneled
walls,
That line to the counter,
the trays
and the meager menu card.
“Blessed are”,
I muttered,
“Blessed are,
Blessed are,
Blessed are...”
That blessed squalor
I shall never betray.

I came to love
the defeat at the game of life,
And the faded traces
of decorations
on old uniforms,
And I could now enter
the world of shadows just like another shadow,
Without farewell salvos,
solemn faces,
or fuss.

*Translated by Lev Navrozov
New York, 1993*

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

Перевод Александра Вейцмана

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ГРЕЦИИ

Ну что ж, мы приближаемся, Гермипп.
Коль верить капитану, послезавтра,
похоже, мы достигнем берегов.
Хотя бы мы уже в знакомых водах
родных нам Кипра, Сирии, Египта.
Зачем молчишь? Ведь сердце и тебе
подсказывает, что отныне чем
от Греции мы дальше, тем счастливей.
Зачем же нам обманывать себя?
То будет не по-гречески.

Пора признаться в неизбежной правде:
мы тоже греки – кто же мы ещё? –
пускай пристрастия и чувства азиатов
присущи нам, пристрастия и чувства,
далёкие порой от эллинизма.

Ведь, как философы, Гермипп, негоже, чтоб
царям ничтожным мы уподоблялись.
(Ты помнишь, как смеялись мы, когда
те важно появлялись в наших школах?)
По их эллинистическим одеждам,
одеждам македонским (как иначе?),
случалось то Аравию отметить,
то Мидию местами угадать.
На что они ни шли, эти глупцы,
дабы сокрыть естественные корни!

Негоже, нет, подобное для нас.
Ведь чужды нам ничтожности, как грекам.
И не стыдиться нам течения по жилам
сирийских и египетских кровей.
Почтим же их и возгордимся ими!

МОЛЬБА

Моряк погиб в пучине. Всё же мать,
не ведая, идёт зажечь опять

высокую свечу под образом Мадонны,
чтоб он вернулся при погоде благосклонной –

и робкий слух прилаживает к ветру.
Пока она твердит молитву эту,

икона слушает, всезнающе грустна
о том, что сын не возвратится никогда.

АННА КОМНИНА

В прологе к написанной ей «Алексиаде»
вдовая Анна Комнина скорбит об утрате.

Душа её тревожится. «Глаза
в речном потоке я», твердит она, «покою...
Ах, если бы не бури» её жизни.
«Ах, если б не восстания». Сжигает её грусть
«до крови, до костей, до расщепления души».

Для сей властолюбивой женщины, однако,
в одной печали лишь содержится причина;
лишь об одном она по правде сожалеет,
(пусть не признает это) гордая гречанка,
но, невзирая на интриги, всё же царства
ей получить не удалось. Из рук буквально
корону выхватил коварный Иоанн.

НА КЛАДБИЩЕ

И в дни, когда память ведёт твою поступь
на кладбище это, смиренно почти
священную тайну, как будущий опыт
на нашем начертанном свыше пути.
Ты к Богу направь себя в скорбной мольбе.
И предстанет тебе
то узкое ложе для сна, что всегда
являет собою прощение Христа.

Безмолвно воспела блаженная вера
и смерти приход, и явление могил.
Не терпит ни слова, ни взора, ни дара
язычника, что бы он ни подносил
из бренного золота, тираня чело.
И смиренней всего
то узкое ложе для сна, что всегда
являет собою прощение Христа.

ТЕРРОР

Господь Иисус Христос, мне ношу облегчи.
Храни мой разум, мой покой. Храни меня в ночи.
Когда являются в мой дом, крадутся к изголовью
иные Существа без голоса, без плоти;
иные Вещи, безымянные в природе.
Крадутся и кружатся, как будто у надгробья,
и отражаются в моих больных глазах,
тем самым наводя уже знакомый страх.

Я вижу их, готовых до последней капли крови
испытать меня и бытие, воспоминания готовя
о тех годах, когда я был одним из них, частицей
среди Вещей, среди Существ – исчезли те года.
И вот теперь они впервые готовы возвратиться.
И мною овладеть. Теперь, однако, навсегда
крещён я и спасён сакральным именем Христа.

Теперь, однако, ночью, как некогда вначале,
я вздрагиваю, чувствуя, как на лице застряли
их взглядов быстротечные огни.
Храни меня, храни, всезнающий Господь,
Не их, а плоть мою дай в суете перебороть.
Храни меня, от слов, ещё не сказанных, храни.
Иначе в этой пытке, в этом страхе, в этом гнёте
я вспомню то, чем погашу лампадный свет напротив.

АЛЕКСАНДР ВЕРГЕЛИС

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК: ПОРТРЕТ В ПРОЗЕ

*О книге эссе Алексея Макушинского «У пирамиды»
(Москва, «Новый хронограф», 2011)*

Среди литературных событий последнего времени, достойных внимания читающей публики, стоит назвать выход в свет новой книги Алексея Макушинского – поэта и романиста, вот уже двадцать лет живущего в Германии. Макушинский – автор двух романов – «Макс» и «Город в долине» (второй только что с некоторыми изъятиями опубликован в журнале «Знамя») и двух книг стихов – «Свет за деревьями. Стихи» и «Море, сегодня». «У пирамиды» – так называется книга эссе, продолжившая этот список.

Когда литератор един в трёх лицах, то есть работает одновременно в разных отраслях словесности – лирике, прозе и эссеистике, требуется определить, в чём его конёк, кто он *par excellence* – стихотворец, прозаик или эссеист. В случае Алексея Макушинского пока ответить на этот вопрос трудно. Три неторопливых труженика соревнуются в нём. Не прочитанные, увы, широкой публикой роман «Макс» и в особенности вышедший в свет второй роман (прочитать который советую всем, кто считает, что роман-таки умер) показали, что мы имеем дело с оригинальным и мыслящим прозаиком. Что касается стихов, то в них Макушинский выступает как талантливый и благодарный носитель двух традиций – русской, с её ещё мускулистым и жизнеспособным силлабо-тоническим рифмованным стихом, и европейской, давно живущей только верлибрами. Но если начинать разговор о Макушинском, то с Макушинского-эссеиста. Потому что эссе, вероятно, главный жанр литературы минувшего столетия, тем более что главный персонаж книги «У пирамиды» – он самый – страшный и так и непонятый, пожалуй, Двадцатый век.

Первое эссе книги так и называется – «Двадцатый век». Именно этот век поставил большую часть тех страшных вопро-

сов, которыми мы заняты донныне. Что может стать зерном для будущего эссе? Оказывается – всего лишь строчка в чьём-то дневнике. Всего лишь строчка (но какая) есть в тетради Александра Блока: «Гибель *Titanic*’а, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть ещё океан). Бесконечно пусто и тяжело». В ней, в этой записи – весь ужас и дьявольская индивидуальность минувшего столетия. И – (какая ужимка Истории!) – спустя ровно сто лет завалившаяся на бок гигантская «Конкордия» как бы закольцовывает время. Океан всё ещё есть. О его существовании свидетельствуют волны экономических кризисов и всевозможных революций. И то ли ещё будет – как бы говорят нам оттуда, где об *океане*, казалось бы, знали всё.

И – так кстати процитированный Мандельштам, изнутри кошмара 30-х говорящий жене, что был-де у нас рай на земле, да только мы его не узнали. Это был, конечно, век девятнадцатый – додумывает мандельштамовскую мысль Макушинский. И хотя Девятнадцатый, если разобраться, был тот ещё век – тут и войны, охватывавшие целые континенты, и мракобесия хватало (последнее аутодафе состоялось в 1826 году в Валенсии), а всё-таки величины в системе координат добра и зла несопоставимые. «Он *хотел* смерти, этот век, вот в чём дело... Ему *нравилось* механическое, неживое, железобетонное», – пишет Макушинский, вольно или невольно отсылая читателя к Эриху Фромму с его «Анатомией человеческой деструктивности» – работе, в которой любовь ко всему искусственно-механическому интерпретируется как симптом некрофилии. То есть можно сказать, что Девятнадцатый век был попросту некрофилом. Как Девятнадцатый, скажем, невротиком, а Восемнадцатый – нарциссом. Но навешивать такие ярлыки было бы слишком упрощённо и несправедливо. Если бы будущие поколения могли судить о минувшем столетии исключительно по книге Макушинского, они бы едва ли сделали такой однобокий вывод. Девятнадцатый век со всеми его кошмарами дал человеку и человечеству возможность посмотреть на себя со стороны и ужаснуться. Опыт страшный, но незаменимый. Неудивительно, что к этому опыту подталкивали человечество подчас лучшие его представители – тот же Блок, например, с его «музыкой революции». Или Горький, по словам Ходасевича, «немножко поджигатель». У века были свои провозвестники, пророки, резюмирует Макушинский. Идеологические, интеллектуальные основы закладывались заранее – тогда, когда, казалось бы, мир готов был навсегда гармони-

зироваться и успокоиться. В столь восхищающей нас «прекрасной эпохе» шла интенсивная подготовка к эпохе ужаса. «В том прекрасном мире, в серебряном веке, в Belle Époque они всё уже продумали и прочувствовали. В том мире, о котором мы можем только мечтать, да и мечтать-то не можем, они сидят себе, значить, и думают, как бы его разрушить... Грехопаденье происходит, как известно, не до, а после изгнания из рая. Грехопаденье происходит в раю», – читаем в очерке «“Титаник” и океан».

Но не ужас расчеловечивания важнее всего, когда речь идёт об определении главных черт столетия. Главное – то интеллектуальное взросление, которое он нам (сам будучи, по замечанию Макушинского, подростком) обеспечил. Двадцатый век, по сути, это век-экзистенциалист, несмотря на все свои глупости и заблуждения (чего стоит один постмодернизм!), время от времени стоящий, по Хайдеггеру, «в просвете бытия» – потому что, по Ясперсу, находится он в сплошной «пограничной ситуации». Отсюда – обилие поводов поговорить о том, что в этих просветах удавалось рассмотреть, и о тех людях, которым это удавалось. В книге «У пирамиды» есть «странные сближения». Например, неожиданное (а в действительности – закономерное) сопоставление двух столь разных, казалось бы, поэтов XX столетия – Владислава Ходасевича и Филипа Ларкина. А также Василия Гроссмана и Льва Шестова. Макушинский ещё раз напоминает о том, что в этом веке на земле жила Маргерит Юрсенар. И зовёт прочитать (перечитать) её «Адриана». Зовёт читателя как хорошего знакомого, спеша поделиться с ним радостью обретения. Таков русскоязычный автор, обладающий счастливой возможностью пребывания одновременно в двух культурных контекстах – российском и европейском. Знание нескольких европейских языков, преподавание литературы в немецких университетах, постоянные перемещения по городам Старого Света, всё это – счастливая возможность превращения потенциальной по своей сути «тоски по мировой культуре» в радость её непосредственного обретения.

Своей эссеистикой Макушинский как будто подтверждает старую уже, хотя и спорную истину: если настоящая проза в наше время возможна, то возможна она лишь в рамках жанров, находящихся на грани творческих фантазий и публицистики, художественности и документа. Это то, что Лидия Гинзбург называла «промежуточной литературой». Но из своей «промежуточности» эта литература выросла, на наших глазах становясь

главной, основной. Впрочем, в результате такого смещения литература теряет значительную часть и без того малочисленной когорты поклонников. Читателей эссе по определению меньше, чем читателей романов. Ведь для этого нужна особая читательская квалификация. Именно поэтому прозе Алексея Макушинского нечего рассчитывать на широкий общественный интерес. Впрочем, как и его утончённым и грустным романам. Романам, которые приведённый выше тезис о прозе своим существованием опровергают. Художественная проза в чистом виде имеет все права на существование. Доказано Макушинским. Хотя в случае с романом «Город в долине» мы наблюдаем некую диффузию жанров, когда к стволу художественного произведения как бы прививаются ветки с древа эссеистики и мемуаристики. Но отторжения одного другим при этом не происходит. Впрочем, романы Макушинского, как и его стихи, требуют особого разговора.

г. Санкт-Петербург

ЛИЛЯ ПАНН

ПОСЛЕ

О поэзии Олега Вулфа

*Как вагоны, спрягая слова...
Александр Танков, «После Освенцима»*

В стихах, с которыми Олег Вулф (1954 – 2011) вошёл в литературу,²⁸ – а случилось это в весьма зрелом возрасте, под пятьдесят, – бросается в глаза «сор» железной дороги. Да такой, что железнодорожный миф, бытующий в русской поэзии со времён некрасовских ламентаций, загрузился более напряжёнными и менее очевидными смыслами.

«Вокзал, несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук» Пастернака, «рассвет на рельсах» Цветаевой, «путевой обходчик, во всей степи один с огнём» Тарковского и многие, многие другие горько-сладкие или чисто горькие мелодии («тоска дорожная, железная» Блока, «крик станций» Цветаевой) озвучивают во времена цветения «железки» изменившееся пространство-время ещё недавно пешеходно-лошадного человека. И в наши дни вроде бы отработанная эмблема российского пространства – жд – нет-нет да и вдохновит поэта на звук, сравнимый по своей пронзительности с воем электрички в ночи (всегда почему-то целебным). «Как пробирают они – до дрожи: рельсы, / шпалы, туннели, речные мосты, пути, / будки стрелочников, курганы, белыцы, / брянски, курски, пустопорожние / грохоты, вокзалы, “ручку позолоти”, // с бельмами изоляторов, как слепцы, / идут столбы, цепляясь за провода, / возле шлагбаума промелькнёт подвóда, / орски, сызрани, новгороды, ельцы, / “спичкой угости, молодой, да?”» (Вл. Гандельсман)²⁹

Музыка Олега Вулфа выходит из другого депо. Образы и метафоры на его железнодорожном полотне складываются

²⁸ Цикл «Переселенцы» в нью-йоркской газете «Новое русское слово» (2004).

²⁹ «Железнодорожное полотно», «Новый Журнал» №263, 2011.

в мотив движения на месте, а то и вспять, дороги в никуда, и это предсказуемо для нашего времени – непредсказуемо ощущение проклятья, словно тяготеющего над жд. Или несмываемая память о некоей глобальной железнодорожной катастрофе, травма не проходит.

Небеса засыпали, отбросив руку, отбросив руку
с сигаретой заката, как спят сироты, –
никого в изголовьях. Кровли
окраин в швах берегов. Коров ли
стада пересекали окрестность, русло,
тыльную сторону, место. Коров, овец ли
тыкались морды впотьмах в небеса, как в ясли.
Осторожно жидкость текла, как если
поворачивалась бы на бок, чтоб выйти в прорезь.
И тогда на барабан предместий
из туннеля накручивался поезд,
и впотьмах живые
пели смутным хором. Как баржу в иле,
стронув речь наутро, пока не спелись.

Отнюдь не платоновское упоение мощью и разумом машины звучит в настоящем и «грядущем»: «И льются в горловину поезда, / растягивая рельсов пуповину, / в несметное грядущее, когда / оно есть способ света и вода». А пуповина-то из чего растёт? – задумываешься под напором железнодорожных тропов. Тропы эти у Вулфа редко прямые, но вот в «Этапе» они как на ладони:

Один из местных, я его не знал,
мне показал назад,
где проседало зарево. Вокзал
перегорал в закат.

Впотьмах образовали крестный ход
толпа, конвой.
Кишел фонарным светом поворот
бульжной мостовой.

Топтались то по снегу, то по льду
на выходе туда,

где в рукавицу, растолкав толпу,
дышали поезда.

Небытия распахнутый очаг
предместьями небес
был разворочен. И закатный чад
свисал не здесь,

но в самом пекле адова котла,
таких полен,
что беглый взгляд мой выгорел дотла,
до дна спалён.

Разногласная (консонансная) рифма «полен» – «спалён», конечно, один из звуко смыслов, работающих здесь на симбиоз льда и пламени того, что короче всего обозначить через г у л а г о с в е н ц и м.

В первой публикации «Этапа»³⁰ в седьмой строке было: «Кишел червями света поворот». Какая ненависть может быть к свету! Но автор решает её утаить под «фонарным светом», уводящим к земной вечности-аду Блока («Аптека, улица, фонарь»). Однако и вечность, и ад совсем не те в поэзии п о с л е Блока.

Возможно, техническая деталь гулагосвенцима – в массовое уничтожение людей везла старая добрая железка (и к а к везла, мы знаем) – иному читателю покажется недостаточно весомой, чтобы увидеть в ней ключ к железнодорожной музыке Олега Вулфа, услышать в ней ноту п о с л е. Ну а что, если (тут начинается неизбежно субъективное прочтение извне судьбы поэта) этот человек находился в тех сильно равнодушных отношениях с жд, какие нередко складываются у много путешествующих и к тому же чувствительных к её метафизике? В молодости Олег, геофизик, ездил в далёкие экспедиции, много путешествовал по Союзу, и железнодорожный ареал мог быть ему если не домом, то залом ожидания – в том смысле ожидания, каковым был наполнен классический железнодорожный миф: «Есть в рельсах железнодорожных / Пророческий и смутный зов» (Тарковский). Мог ли подобный хронический пассажир-поэт не видеть боковым зрением гулагосвенцимский товарняк, набитый тоже ожиданиями, а чего, уточнять излишне?

³⁰ Олег Вулф «Снег в Унгенах». Библиотека журнала «Стороны света», Нью-Йорк, 2007.

Не мог, даже если и не был подобен моему гипотетическому пассажиру.

Гулагосвенцим непосредственно даёт о себе знать в трёх-четырёх текстах Вулфа, чаще присутствует послесвечением – в мотивах убогости, деградации, безысходности земного массового существования, сменившего массовое уничтожение.

Человек бурятский, сырой лицом,
серый лицом. Выношенный отцом
двубортный выглядел молодцом.
Выглядел на потом. Затем,
что перемена тел.

Простыню перегона тянул вагон
за вагоном. Было пурге невмочь
ступу в воде толочь.
Коммунален, как мысль слепца,
плацкарт с головы, с конца.

Независимо от сюжета вагоны идут в тупик. Железнодорожные тропы (клаустрофобные вагоны, затхлые полустанки, «вагоновожатые» в роли слепых, ведущих слепых, и пр.) были бы стёрты, если бы в старые мехи не вливалось свежее словотворчество. Юркое слово-насекомое шастает по щелям тупиков.

Ты жил в вагоновожатые времена
жадных, поджатых старцев, стиранных мойдодыр,
табачку на понюх, на троих пьянца,
хлебца загодя, с бородой байды.
Пёкся в долю с бульбой из вещмешка
о равенстве. И раздавал пешка,
отпустив электричку жестом или плевком куды
макаров гулаг не гонял. И проездной истёк.
Вагоновожатый умер в полупустом плаще.
На подъезде к Моздоку, нажав на стоп,
время вышло не сразу, а вообще.

Логика конструирования художественного пространства искривляется смыслами критического веса – фундаментальный закон эйнштейнова пространства эстетики, сменившего ньютоново, куда Олег Вулф, поэт и прозаик (истово

критичной логикой построен цикл рассказов «Бессарабские марки»³¹), заглядывает преимущественно за просодией.

Ударная игра с присловьями («куды / макаров гулаг не гонял»), словоломание («раздавал пешка»), диалектизмы, сленг, чужое слово (преимущественно Пастернака – в зонах просвета постапокалипсиса: не без них), метафора, отнесённая от реальности на плохо просматриваемое расстояние, опущенные семантические звенья, абсурдизм – всё это, и не только это, лепит слова в плотный, тяжёлый от веса подробностей язык, лёгкость движения которому обеспечивает близкая к традиционной просодия. Стих рифмованный и метрически гармоничный при всех изломах ритма. Контрапункт смысла (трагического) и звучания (музыкального) – всё ещё панацея для «болящего духа», всё ещё магия единоличного ритуала освобождения, согласно Баратынскому, «от всех своих скорбей».

«Свободу обращения со словом у Вулфа можно сравнивать с хлебниковской и т. д.; сравнивать с пользой для понимания и без вреда для восприятия этих текстов – Олег Вулф действительно мастер оригинальный», – таково впечатление критика Сергея Костырко³². «Вечером нечего, / Речка нейдёт в ведро. / Вечеро во облацех, / нечтёе вечеро. // Гуси себя скрипят / с головы до пят. / Вечеро спичное. / Начисто утречно, птичное». Здесь поэт возвращает слово к истокам, в Эдем самовитого слова. Независимую жизнь слова Вулф лелеет, но правит бал-то смысловик, более того – философ, порой слегка абсурдистского толку. «Ибо поэт не сын слову, его нутру, / если оно не сон, что позабыт к утру. // Если оно не влёт, не за щекой пятак, / где бы ни лёг под лёд, с биркою или так». Вулф написал (опубликовал) стихов немного, но они разнообразны в своей поэтике, словно автор поставил себе тайную задачу продолжить лучшие достижения поэзии модернизма (постмодернизм обойдя стороной) в ряде образцов, по известному принципу: лучше меньше, да лучше. И всё это разнообразие говорит своим узнаваемым, именно что оригинальным голосом.

Формулу его не вывести. Свободу обращения со словом исповедуют многие, а голоса – как с разных планет. На тех же инструментах оркестры играют совсем разную музыку. Но

³¹ О. Вулф «Весной мы увидим Соснова». Рассказы, стихотворения. StoSvet Press, Нью-Йорк, 2010.

³² Периодика. Новые книги. «Новый мир», №10, 2010.

можно ли пригвоздить интонацию, звук голоса, тембр? В данном случае можно несколько сузить «формулу» голоса параметром пола: стихи Вулфа на редкость мужские по звучанию, и вряд ли это впечатление создаёт лишь невозмутимость или жёсткость тона (мужские и женские голоса в нынешней поэзии могут быть равно жёстки и невозмутимы). Нет, здесь задействован некий истинно мужской жизненный опыт, мужская хватка, переплавляющая опыт в легко поднимаемый тяжёлый груз стиха, хватка эта, пожалуй, и определяет самость Вулфа. (Самость, по Юнгу, не просто своеобразие, это зрелость своеобразия, достигнутая во взаимодействии с миром.) Можно ещё вспомнить известное *bon mot* одного учёного гения про научные идеи, его тест: достаточно ли идеи безумны (читай: неожиданны), чтобы быть верными? Не идеи, а стихи, то есть идеообразы у Вулфа отмечены «верным» безумием, свидетельствует читательский опыт: все странности встанут на место, если не сердиться на них, а акклиматизироваться в стихе.

Полустанок в отставке. В остатке добра или зла.
Железнодорожность узла.
На морозе остаточный запах разъезженной стали.
Привокзальный кабак, где любой из проезжих дерсу узала.

За стаканом вина, в индевелой кубышке тепла,
в лишнем риме, где в некоем роде, этруска
изумил бы, скорей, не состав, а простая кутузка,
где любой из приезжих дерсу узала,

кто-то курит и смотрит, покуда она не пришла,
на запавшее веко заката. Похоже,
кепка, фабричный прохожий,
где любой из приезжих дерсу узала.

За окном переезд, над которым пылает зола,
разминает составы. И с лязгом кустарным зима
передёргивает затвор, досылая в патронник
отстающий вагон, где проезжий дерсу узала.

Да, «железнодорожность» Вулфа безумна: ну что, в конце концов, так он прицепился к этой несчастной? к железке? Но если не он, то кто? Кто ещё не даст нам забыть самую сокруши-

тельную железнодорожную катастрофу всех времён и народов? Документ? О чём и говорить, документ вырос до неба и всё растёт (из недавних поступлений – документальный фильм «Конвои позора»³³ об участии – и о редкостном рвении – Французской национальной железнодорожной компании в депортации из Франции евреев, цыган и участников Сопротивления в германские лагеря уничтожения), но ни документ, ни проза, ничто, кроме поэзии, кроме её «безумия», не делает человека причастным с такой естественностью к ритуалу, врачующая сила которого в оплакивании жизни и спасении искусством.

«Полустанок в отставке» увиден взглядом, выгоревшим догта и спалённым до дна на выходе из «Этапа», увидевшим вместо заходящего солнца пылающую золу, а вот зола рифмуется с «узала», и это вряд ли случайно. Как расшифровать метафору – ни к селу, ни к городу, ни к железной дороге – «дерсу узала»? Понятно, он проводник, но ведь не вагона! Проводник стиха, повторяющаяся в каждой строфе, смыслообразующая рифма. Будто славный таёжник – живая жизнь – заблудился, забрёл не в ту степь, себе на погибель³⁴ – в «железнодорожность узла». Вообще-то, так не говорят, а если говорят, то только когда грамматика прогибается под весом семантики – под весом «узла» поэзии Олега Вулфа. Не будь его мифопоэтическое пространство так связано с железнодорожным, глубинно российским, стихи были бы другими.

Они и стали другими, когда пространство сменилось и заменилось чистым временем, когда американская лирика стала забивать российский эпос. Характерно эмигрантский ли это феномен – замена пространства на время – или просто возраст делает своё дело? С одной стороны, пространство возрастает хотя бы за счёт географического расширения горизонтов, но вот техника его освоения не впитана с молоком матери (автомобиль и самолёт заменили пеший ход и жд), и потому пространство теперь для поэта-эмигранта – скорее проза (интересная, захватывающая, устрашающая, какая угодно), нежели поэзия. Стихи находят приют во времени. Одна из проекций которого – на плоскость земного существования – есть любовь.

Так прочитывается – в новых, гулких звуко смыслах любви – длинный «Дождь», притом что начинается на серой

³³ Raphael Delpard «Les Convois de la honte».

³⁴ Дерсу Узала был найден убитым недалеко от железнодорожной станции.

и глухой ноте: «В потёмках дождь, как через лес мордва, / на войлоке выходит в острова»³⁵. Вода – важный материал в мастерской метафор Вулфа, для кого душа поэта при рождении сослана в «отечество дождя», читай: всемирный потоп, всемирный не только в пространстве (в противоположность библейскому), но и во времени: не закончится на Земле (плоской «пуговице», если посмотреть на неё из более многомерной сферы) никогда:

И дождь идёт за нами потому
дворами, пустырями, что ему
не проще выйти в пуговицу эту,
чем нам с тобой в единое ушко
двойною нитью...

Любовь – световой прорыв в сплошной облачности земного существования, но и покидать его надо в любви – это знание добыто всей жизнью поэта и непреложно при всей неизвестности «правды» за пределами жизни:

Погасят свет за нами, вот тогда
мы станем частью правды, и вода
сойдёт в низины, броды, загарани,
уйдёт в породу пустошей, пустынь.
Забелят дырку, выдернут костыль,
забитый в сердце загодя, заране.

«Дождь» буквально завален метафорами одна другой пронзительнее («Мели свою емелю, гильгамеш дождя и гула, мирозданий меж»), образами один другого ярче («жена смеющихся отворяет рамы»), словами одно другого звучнее – музыка гласных, светлая, как бы горестна она ни была, окрашивает поздний лиризм Олега Вулфа. Короткие замыкания в синтаксисе под током лиризма вызывают в ровном свете стиха искрения: «А теперь ты молчишь ни о чём, / и я молчу городок коленей твоих». Или: «Я тебя в трамвае еду, / ты рукою помаши. / Ничего на свете нету, / кроме неба и души.<...> Эта устная водичка – / ни напиться ни напиток, / девятиночка, синичка, / как, скажи, теперь не быть».

³⁵ Мордовские охотники прикрепляют к своей обуви в лесу бесшумные войлочные подошвы.

В той светотеневой картине, какой предстаёт весь не слишком массивный корпус стихов Олега Вулфа, преобладает темь; свет позднего лиризма, уходящий из истории, лишь оттеняет историческую темь. В прямо-таки «спящую темь» читателя вдавливают затейливая мини-мистерия «МХАТ».

Век мотаться бы мокрой вьюге
об руку с саженой шубой,
начинаться театру с виселицы. Здравсьте, здравсьте,
а получилось: слушать
подано. И в последнем акте
всё в ненужном множестве ружей.

Мужчина видный, мужчिनovidный
достал платок. Он, кажется, шёл с повинной,
а принёс повидлю
на брюках после антракта,
прежде чем пасть на вилы.

Стало быть, это и есть революция – не кокто,
не к стенке людовик и всем война,
не шмат престарелой материи на
вонючую дырку смерти кого-то, кто
швырнул номерок и вышел: Пальто! Авто!

Ни зги на выходе, как ни зри.
Мелочёвка разезда. Скупая мзда
торопливых шагов за версту пурги
в околоток небес, всенародный и надлежащий при
муниципалитете. Остальное история и вода.

Сразу не разберёшься, где метафоры тут, где реалии (судьба революции как судьба МХАТа или наоборот?!), но известно: чтобы начать видеть в темноте, различать предметы, надо в ней пообвыкнуться. А поэт вообще подобен тем зверям, что в темноте видят лучше, чем на свету. Во всяком случае, Вулф этой породы. И потому читателю кажется, что поэт играет с ним в стихи-прятки, да ещё в темноте. Дело за читателем – найти выключатель и включить свет. (В голове, а не в стихе, как окажется.) А выключатель (почему, кстати, не выключатель?) – это всего лишь свобода слова, не политическая, а поэтическая.

Свобода чтения. Она давно нам дана, больше века назад, ещё до первой революции, но мы почему-то забываем о ней именно тогда, когда без неё не обойтись. В стихотворении «МХАТ» образы мира как театра и театра как мира отражаются друг в друге, метафоры взаимопроникают, а органика конструкции пьёт живую воду «мелочёвки» истории, разведённую в «воде» эсхатологии.

К обречённому миру Вулфа странным образом при-
выкаешь и начинаешь ощущать его пригодным для житья, а
это признак хорошей поэзии, поэтической удачи. Потому что
жизнь какая ни есть продолжается, постапокалипсис – это умоз-
рение, и Олег Вулф, «дерсу узала» какой-то своей частью, хотел
или не хотел, нарисовал мир тяжёлым для жизни, но и живым.
А другим он не бывает, ни после катастрофы, ни до.

Соловей, не жаворонок, поёшь.
Пополуночи осыпают щебень,
звёздный щебень сыплют в уральский ковш,
а прислушаешься – свист и щебет.

Свист и щебет в узкую щель, в проём
перегона, ржавый, почтовый, старый
ящик воздуха. Жадно живётся в нём
соснам, ввинченным в жизнь по самый

стон, покуда в чурку нейдёт тесак.
Пополудни свет удлинняет слово,
и отбрасывается не тень, но сам
щебет света, хором поющий соло.<...>

И ряд картинок (не все, не все, многоточие не случай-
но!) при повторном просмотривании, доверившись свободе
чтения, можно увидеть ещё и иначе, совсем не «выгоревшими
глазами», даже в окрестностях жд... «где брошены, как горсть
песка в лицо, летящие товарняки».

Недаром в цикл «Переселенцы» (основное железнодо-
рожное полотно Вулфа) он неожиданно помещает нечто, каза-
лось бы, инопланетное, а именно: свой стихотворный отклик
на «Элегию» Чайдека Тичборна. Автор её (Chidiok Tichborne,
1562 – 1586) написал единственное своё стихотворение накану-
не казни за участие в католическом заговоре (1586) против Ели-

заветы I. Гибель во цвете лет для Тичборна – экзистенциальный нонсенс, и никто этот нонсенс не выразил острее и пластичнее ни до, ни после Тичборна в сходных обстоятельствах (да только были ли сходные: заговорщики были выпотрошены живыми и повешены, и Тичборн сочинял элегию в преддверии чудовищной казни, вряд ли она явилась для него неожиданностью). И вот приходит Олег Вулф со своей элегией на элегию, а – пафос её диаметрально противоположен оригиналу! То есть элегия Вулфа плавно убывает в элегичности. Видимо, поэту надо было поговорить о жизни и смерти без обиняков, а то как бы его несчастные «переселенцы» не сбили с толку читателя.

НА ЭЛЕГИЮ ТИЧБОРНА

*Бокал мой полн – и пуст. Где вкус и вес?
Я жив, я здесь, но миг – и вышел весь.
Чайдек Тичборн (пер. Вл. Гандельсмана)*

Люби свой шаг и веку не перечь.
Любая ноша – благо. На любой
из языков растапливают речь.
Любой дорогой гонят на убой.
И странник – разве отсвет одного
из всполохов. Он есть – и нет его.
Люби свой путь, поскольку не дано
иного, ибо цель его – в тебе:
гляди, как головнёй обведено
его пространство в сумерках, теперь
вглядись в него, покуда в молоко
душа ложится, тут недалеко.

Ибо сегодня нет тебя затем,
что завтра будешь. Ибо твой стакан
затем и пуст, что не готов задел.
За шагом шаг доверившись стопам,
восходишь, горную защёлкнув цепь
на щиколотке, в свой исток и цель.

О жизненных философиях не спорят, о художественных же можно, и текст Вулфа, решив задачу экзистенциального утешения в контексте железнодорожных «Переселенцев», ещё и непреднамеренно измеряет – контрастом их поэтической самости и классической дидактикой отклика Вулфа на элегию – часть задела, о котором говорит. А говорит он, согласно одному варианту прочтения (проглядывается и другой, оставим его читателю), о возрастающем, благодаря деятельности человека, заделе в непостижимой им, человеком, высшей космической работе (идея, далеко не новая, лежит и в метафизике последнего романа Дм. Быкова «Остромов, или ученик чародея»). Искусство, конечно, только часть таинственной работы высших (по ту сторону добра и зла) сил, но этой части принадлежит главное дело жизни Вулфа. У Тичборна было другое важное для него дело – религиозная борьба, и его доля в мировом заделе несколько парадоксальна. Невозможно оценить действие провалившегося заговора на исторический процесс, но поэзию его «Элегия» украшает. Она, кстати, вся о парадоксе бытия.

Задел связан с катарсисом, вернее, катарсис связан с заделом. Правда, Вулф катарсиса как аристотелевской эстетической категории (очищение в трагическом искусстве от переживаний страха и сострадания) прямо не касается, но тот, для кого всё ещё имеет смысл вопрос о психологическом механизме катарсиса, найдёт в отклике Вулфа ещё одно непреднамеренное измерение. Вулф, сознательно или нет, объясняет, почему элегия Тичборна вызывает столь сильную катарсическую эмоцию.

С первых же строк элегии Тичборна, с первых слов, сказанных в рифму, источающих лишь беспредельное отчаяние, мы, откровенно говоря, если и испытываем сострадание, то умозрительно (то есть не чувствуем ничуть), а сердцем ощущаем восхищение и просветление. Восхищение – перед способностью человека мобилизовать свои внутренние силы на самое разумное занятие в его ситуации. Просветление – от того, что у него под рукой было нужно: всё тот же задел – а именно: поэтическая форма. Ибо она есть форма достоинства исторического человека. И не есть дело рук одного. Без неё, формы, от которой требуется только способность совпасть с содержанием исторического времени, невозможен ритуал катарсического переживания. Этот единоличный ритуал суть поэзии, и потому всегда будут сочиняться стихи п о с л е любых катастроф. Вопрос, какие.

Такие, например, как в недавнем цикле Александра Танкова «После Освенцима»³⁶. Стихи эти написаны не только «после Освенцима», но и об Освенциме – как олицетворении хаоса мирового порядка, унижительнее того – глупости мировой истории до полного неприличия, в коем человечеству предстоит свой век доживать. Так какой же тут может быть катарсис? От высказывания последней правды? Но разве мы её не знаем, прожив XX век? Знаем, но только то, КАК поэт Танков говорит свою правду, вызывает невероятное, невозможное катарсическое очищение читателя. О простой и одновременно изысканной форме цикла надо писать, однако, отдельную статью, а здесь только отмечу, что нарративная поэтика «рождественских стихов», переписанных поэтом «после Освенцима», столь отличная от поэтики Олега Вулфа, имеет с ней общий художественный элемент – стяжение, по слову Ирины Машинской. В случае Танкова, это стяжение исторических эпох, фигур, событий в амальгаму символов. Что касается приёма стяжения у Олега Вулфа, то он работает чаще всего на уровне не нарратива, а самого стихового вещества, когда в одной фразе происходят «стягивания двух, а то и трёх равно узнаваемых образов».³⁷ Стяжение элементов стиха на том или ином его пространстве в семантический или синтаксический сплав – явление далеко не новое, но подобное стяжение не только не выходит из моды, а становится лишь интенсивнее. Возможно, причина тому стремление как-то оседлать информационный взрыв, да ещё в эпоху посттрагизма. То есть?

«Сложные и интересные стихи, продолжающие традицию авангарда 20 – 30-х годов XX века, <...> вырастают в немногословное высказывание посттрагического философа», – так откликнулась Анна Кузнецова, книжный обозреватель «Знамени»³⁸ на выход книги Вулфа «Снег в Унгенах». Более или менее догадываясь, что имела в виду Анна Кузнецова под «посттрагическим философом», я всё же попросила её раскрыть понятие. Ответ: «Посттрагическое (искусство, мышление и т. п.), если выражаться коротко и ясно, – это всё, что сделано после Освенцима (Освенцим здесь – метафора двух мировых войн). После того, как человечество получило опыт запредель-

³⁶ «Звезда» №12, 2011.

³⁷ Ирина Машинская «Человек по имени Мы», послесловие к «Снегу в Унгенах», где подробно исследована поэтика Вулфа.

³⁸ «Ни дня без книги», Знамя №8, 2008.

ного трагизма и не испытывает никаких иллюзий насчёт человеческой природы. Когда всё ясно, никого не жалко (поскольку жалость – чувство камерное, оно не вмещает масштабных трагедий), никаких надежд на лучшее будущее, полное понимание того, что человек в своей основе – опасная скотина, что история ничему не учит, что прогресса нет. Посттрагическое – это то, что делается со знанием и пониманием всего этого. Всё то, что сейчас делается на старой, классической, основе – это дотрагическое. Ведь не каждая психика справляется с реальностью, многие до сих пор пишут, мыслят и живут так, будто XX века не было, то есть игнорируя реальность или не зная о ней. То есть посттрагизм – термин, описывающий и время высказывания, и качество этого высказывания». Нужен ли этот специальный термин или нет, ясно, что так понимаемой посттрагической поэзии катарсис нужен в неменьшей степени, чем трагической. А поскольку природа его эстетическая, хорошие, нужные стихи в ракурсе «после» пишутся не в изобилии. Поэтическое трудолюбие Олега Вулфа выразилось не в количестве, а в нужности его стихов современному сознанию. Ведь главная его задача – децентрация, умение или хотя бы стремление видеть мир вне «я».

Так далеко сегодня, что нас не видно.<...>

Так далеко сегодня, что нас тут нету.

ИРИНА МАШИНСКАЯ

ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ МЫ.

О КНИГЕ ОЛЕГА ВУЛФА «СНЕГ В УНГЕНАХ»

Мне трудно писать о прозе и стихах Вулфа, потому что они давно стали частью моей жизни и моего читательского опыта. Я постараюсь притвориться, что я впервые раскрываю эти тексты, как бы натыкаясь на них: как увидит их впервые чуткий, но необязательно слишком опытный читатель? Я хочу, чтобы он увидел в них хотя бы то, что вижу я, – лучше, чтобы увидел-услышал ещё больше. Конечно, читать эти тексты неподготовленному человеку не очень легко: материя языка в них спрессована до предела, движение образа стремительно и непредсказуемо. Вулф до упора взводит курок приёма, который мы назовём *стяжением*, когда в одной строфе или даже в одном стихе происходят, как в мультипликации, бесконечные перемещения, кувырки и стягивания двух, а то и трёх равно узнаваемых образов и сочетаний. Пример наудачу: «Ты иди ложись... / честно тяни резину от / одного до сна» Тут целых два стяжения: «честно тянуть лямку (и то: кто как не паровоз, поезд) – и «тянуть резину» – оттяжки и проволочки ночной бессонницы: считать от одного до ста – и считать «до сна», пока счёт не прервётся засыпанием. Всё это стянуто в две строки, из которых одна – короткая. Или: «Снег по швам» – то есть или вертикально падающий снег «стоит» руки по швам, или трещит – разьежается по швам проталин. Пешеход в снегу стоит поэтому, как одинокий солдат на плацу – «как перст» – руки по швам. В глазах бело от снега, и в снегу свербит четное пятно: *одно, один*.

Этот пейзаж не существует сам по себе, и не потому, что поэт его выдумал. А потому что он, пейзаж, не существовал до языка, его изломов, поворотов и оборотов речи (и оборота речи на себя), без изгибов фразы и её загибов. Читатель услышит, как книга гремит присловьями, да и вся она, как единое присловье, гремит о славе и бесславии бессонной, паровозной, очень российской яви. «Ты не знаешь, как губы грохочут, губы...»

Есть поэты гласных и есть поэты согласных. Олег Вулф – поэт согласных, железнодорожных согласных «б» и «д», и ещё «п», и «с», и «т». *«Есть такая косточка: пусто-пусто...»* В своём эссе «О словах» он пишет о принесении слова в жертву навязанному смыслу и жизни как сопротивлению этой силе. Книга эта и есть протест принесению языка в жертву сваям, проводам, рельсам «смысла». Такое вчувствование в язык и есть сочувствие – со-чувствие – языку и, следовательно, тому тёплому, неосмысленному, живому, что за ним стоит и за него держится. Сочувствие и есть ядро этой книги.

Вот обложка: семья, сметённая сквозным, грубым, линейным порывом, называемым российской историей. Принесённая в жертву этому порыву. Круги и кольца вихрей, циклов, лет – и отчего-то не кажущийся чрезмерным нимб над головой беспомощно раскинувшего руки отца семейства: не для объятия, а в попытке – защитить? В попытке удержаться на ногах? В международном жесте «сдаюсь»? Небо в жирных бороздах заката, земля в рельсах – исполосованный, иссечённый линиями, уязвимый мир, где нас «добивали из трёхлинеек», где «на переходе в ад фонарь горел». «Звёздное решето», в которое сливается человеческий остаток; луна – застрявший в решете грубый солдатский жетон (звякнувший жестью униформы и несвободы).

И вот человек выходит из переделки, по-русски завершённый цикл (неделю? век?) в вине (красном? – красной!). Пытается свести бессмысленное в подобие смысла. На рисунках Сергея Самсонова, проиллюстрировавшего (в лучшем смысле этого слова) книгу – маленький человек на дне переулочка, как на дне стакана. «П», «т», «с», «т»... Стенанья века. «Есть такая косточка: пусто-пусто». К концу века пустота – не просто пустота: она заполнена до отказа вещами и осколками вещей. Многочисленные предметы в стихах Вулфа гремят, стучат, звенят – и громоздятся, как на полотнах кубофутуристов, не оставляя просветов. Но всё-таки есть в нас что-то, есть это сопротивление материала, есть предел жертве: пусть раздробленный с хрустом, пусть до предела перемолотый, мир и под чудовищным прессом истории не сливается в одно. Он поворачивается к читателю то одной, то другой тускло мерцающей гранью: то вокзальной кружкой, то баком, то железкой.

Как меняется звук в американских стихах Вулфа! А ведь это тот же авторский темперамент, то же не слишком склонное к приязни зрение – а звучание совсем другое, как

ни настаивает автор, что «хрипло в городе»: «Джаз на Лексингтон, снежный жжазз»... «Басовая си бордо в достиженьи иссиной до. / Снег мечетей, храмов и синагог»... Легко услышать разницу: тут и «г», и «ж», и «з», и лёгкие дуги «л» – длинная, длинная авеню в восточном Манхэттене. Музыка. Зимний, грязный, тёплый, почти родной Гудзон (именно Гудзон-музон, а не Восточная Река, что у Лексингтон под боком – со времён знаменитой топографической ошибки Маяковского он традиционно присутствует в стихах о Манхэттене – и пусть!) – и радость жадного языка, ловящего на лету снежные семена.

Читатель Вулфа, однако, должен приучить зрение к меньшей освещённости, к тусклым краскам другого пейзажа, другой *среды*. «Поезд в глухую среду»... В среду – сердцевину, глухомань недели, в невидимое, гудящее, глухое ядро времени; и эта среда – повсюду, она одна и есть на свете, и человек один, сколько б имён он ни имел – и Николай Нидворяща, и почти поименованный мужчина видный, мужчिनovidный, и человек бурятский, он же человек каракашпакский (он же «мужской пассажир») – тот человек, по сути, аноним. Одиночество, которого в книге хлебай – не выхлебаешь, есть не изысканное «одиночество поэта в толпе», а одиночество человеческого месива, сплавленного в одно удивлённое существо между землёй, похожей на пустые небеса, – и небом, похожим на натруженную, изуродованную землю: на востоке «жарят и жгут резину», а на западе «жирная неба пашется борозда».

И то, что читатель назовёт народом, звучит не как греческий хор, но соло: одинокий голос человека по имени Мы. «Мы жили до войны». Время стоит, как поезд на полустанке. Неподвижный в своём горестном движении. Время неподвижно идёт назад, идёт в Освенцим. И хор звучит как одна страдающая душа. «И тогда на барабан предместий / из туннеля накручивался поезд, / и впотьмах живые / пели смутным хором. Как баржу в иле, / стронув речь наутро, пока не спелись». *После Освенцима* нет ничего потому, что тлеющий Освенцим – всегда, как закат, не перегорающий в рассвет.

Перед нами – миф. Вполне замкнутый мир, где длина истории – один миг, включая прошлое и будущее, и «день растянут, как дым в сосуде». Прошлое – это когда «шло на убыль», настоящее – теперь, когда «идёт на спад». «Вагоновожатые временца». В этом мире если и есть подобие часового механизма,

то это рывки *передёргивающегося* железнодорожного состава, его рычаги и колена. И если есть ритм – это гудки поездов. Почти любая страница этой книги подобна голограмме. Напластование, слипание картинок в одну плоскость: стянутые скрепами странного вулфовского синтаксиса образы оказываются неслучайными соседями и сводятся в одну тускло мерцающую волшебную картину неизменного *настоящего*, уходящего в глубь перспективы.

Связующая этот миф нота – голос поэта, которого будто и нет, как будто это настоящее есть лишь воспоминание невернувшегося Одиссея. Основное действие в этих стихах – вычитание. «Отними от нечётного чётное, всё равно в итоге нечётное». Но самое завораживающее в этом мифе – горестно-прекрасный пейзаж, поровну поделённый на небо и землю. Полустанок. Ещё полустанок. Полстакана неба и полстакана земли (и воды). Переселение. Переселенцы. И всё это под открытым небом, и небо – не фон и даже не задник сцены, но просто уходящий вдаль пейзаж, тоже прошитый железным путём. Где начинается с дореми (романтическое «до Рени»), а выходит мифасоль, в котором и Мефистофель, и тот страшный фонарь, и всё российское, товарное – мешки и платформы: уголь, щебень, фасоль... Оказалась ли бы эта книга другой, будь Вулф европейским поэтом, а не российским?

Когда-то поэт самого протяжного и щемящего звука написал об этом как о «единственной примете»:

И в этом колыбельном свете,
У мирозданья на краю,
Я по единственной примете
Родную землю узнаю.

И дальше – неостановимо: «Есть в рельсах железнодорожных...»

У Вулфа тоже российский железнодорожный колыбельный свет, только зеленовато-сизо-серебристый, и происходит не от фонаря путевого обходчика, как в магическом стихотворении Тарковского, и уж точно не от вечно отсутствующего в картине солнца – а от самой земли, мерцающей лужами, цепями, вокзалами, баками, стрелками – и мокрой глиной, глиной. А звёзды у Вулфа, подумает читатель, тоже влажный щебень (и наверняка привокзальный), а дальше рассвет: и щебень превра-

щается в щебет – свист и щебет – он, читатель, уже научился ловить эти превращения.

Что же это за мир такой, что за время и где эта земля? Где эти загадочные, но вполне реалистические Унгены? Где этот Бенсонхёрст, где «беседуют оглушительными квартетами»? А нигде, а сейчас. Не в Бруклине, где живёт автор, не в Молдавии, где он жил, – а везде, где оказывается человек по имени Мы. И отводится этому социуму – то страница, то полстраницы, да и то с отступлениями: говорить о «Бенсонхёрсте», в сущности, нечего. Социум в рассказах – скорее дружба по несчастью, как в армии, и «пропадает с первыми лучами солнца». Рассказы Вулфа короткие не потому, что это «рассказики», жанр такой, а потому, что они точные и, кстати, часто смешные. Но это – короткая усмешка, дуга *выстрелившей* сигареты, осветившей кусочек ночи, а не долгий гогот юмориста и не уговоры философа. Спрессованность материала в прозе почти такая же, как в стихах, но материал этот другой, и тон другой – бодрее и мужественней. «Классик N. жил в пятнадцатом, когда ещё не существовало женщин...» «Кантонист ушёл отбывать воинскую повинность из грустного, осыпанного солнечной перхотью райцентра. Армейская служба всё ещё виделась горожанам чем-то вроде здорового крестьянского состязания в силе справедливости, по которой побеждает не служба, так дружба». Между короткими выстрелами фраз – долгие, наполненные смыслом паузы. Вулф-прозаик даёт мир, преображённый опытом и осмыслением. Вулф-поэт – держит на ладони трепещущий, вечно меняющийся – и в этом неизменный – образ мира как он есть, то есть каким его увидел, как впервые, поэт. Как это всегда бывает с настоящими стихами, этот мир реален только в ладонях создателя: попробуй переместить в другие руки, попробуй повторить или воспользоваться – картинка исчезнет, исчезнет этот сумеречный, очень узнаваемый пейзаж.

А пустоты как таковой в книге нет, есть только «пусто-пусто» – такая косточка. Пока читаешь «Снег в Унгенах», привыкаешь к тому, что даже воздух – «ржавый почтовый ящик», и воспринимаешь это без удивления, как единственную реальность. Пошедший за Вулфом, доверившийся автору читатель – а иначе зачем читать? – проникается убеждением, что на самом деле реален только миф, эта голограмма: попробуй выйти из него – и найдёшь «то плаху, то пепелище». Выйти из страницы у погрузившегося в эту книгу читателя и не получится –

в лучшем случае ты просто переходишь из вагона в вагон. Так просто, как переходят от небытия к бытию – и назад. Буфера безударных слогов сжимаются ударными – грубыми товарными платформами, сердце пульсирует в неровном дольнике, человек живёт на стыках между согласными и согласными, между явью и явью, и на переходе в ад горит фонарь.

Февраль 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Олег Вулф.	
<i>Публикация и примечания Ирины Машинской</i>	6

ПРОЗА, ЭССЕИСТИКА, ПИСЬМА

Олег Вулф.	
<i>Публикация и комментарий Ирины Машинской</i>	24
Эссе и два рассказа	24
Литературная критика.	24
Критик Б.	25
Арутюнов	27
Ответы на анкету Юлии Трубихиной	29
Выбранные места из переписки редактора.....	34

IN MEMORIAM

ПАМЯТИ ОЛЕГА ВУЛФА

Слава Полищук. «Страшно свету без имени...»	45
Зоя Межирова. Неисказённый луч. Памяти Олега Вулфа	50
Евгений Евтушенко. Своя походка	54
Лиля Панны. Об Олеге Вулфе	58
Григорий Стариковский. Олег Вулф	61
Валерий Хазин. Голос Олега Вулфа	64
Анатолий Найман. О.В.	71
Валерий Черешня. Письма 2007 года	72
Женя Крейн. Щедрость	75
Роберт Чандлер. Об Олеге	77
Борис Дралюк. Памяти Олега Вулфа	79
Сибелан Форрестер. Два дня в Пенсильвании	81
Драгиня Рамадански. Волкующий голубь	83
Постскриптум	84
Лотар Куинкенштайн. Дорогой Олег... ..	87
Сергей Самсонов. Это начало	88
Ирина Машинская. Олег, 2011	89
Лилия Белинская. Слово об Олеге.	
Великое противостояние	95

К 25-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ В.А. КАВЕРИНА

Мария Игнатьева.	
Последний секретарь Вениамина Каверина	106
Лилия Белинская.	
Каверин в последние годы жизни	108

ПЛАВАНИЕ

Владимир Марамзин.	
Славоотрпец. Из романа «Страна Эмиграция»	151

ПЕРЕВОДЫ

Александр Межиров.	
«Чтобы тенью войти в эти слабые тихие тени...»	161
Зоя Межирова. История одного перевода	161
Александр Межиров. «Я начал стареть, когда мне исполнилось сорок четыре...»	
Перевод на английский Льва Наврозова	164
Константинос Кавафис. Стихи.	
Перевод Александра Вейцмана	167

КРИТИКА

Александр Вергелис.	
Двадцатый век: портрет в прозе.	
О книге эссе Алексея Макушинского «У пирамиды»	171
Лиля Пани. После. О поэзии Олега Вулфа	175
Ирина Машинская. Человек по имени Мы.	
О книге Олега Вулфа «Снег в Унгенах»	189

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ «СТОРОНЫ СВЕТА»

www.StoSvet.net

Подписано в печать 9 мая 2014

Нью-Йорк

На страницах литературно-художественного журнала «Стороны света» публикуются поэзия, проза, эссеистика, переводы, интервью, критика, фотография и живопись, вне зависимости от страны проживания автора. Сетевая версия выходит в Нью-Йорке с ноября 2005 года. С октября 2007 года издательством StoSvet Press выпускается печатная версия журнала.

С правилами представления материалов можно ознакомиться здесь:
<http://www.stosvet.net/submission.html>

Купить этот и другие номера журнала, а также книги,
выпущенные издательством StoSvet Press,
можно по адресу www.stosvet.net/lib

Издательство StoSvet Press является частью проекта StoSvet (США), включающего в себя также литературно-художественные журналы «Стороны света» и «Cardinal Points», портал творческих сайтов «Союз "И"» и ежегодную переводческую Премию «Компас».

Основатель и директор проекта: Олег Вулф (1954 – 2011)

Редактор: Ирина Машинская

www.stosvet.net

The StoSvet Press publishing house is a part of the US-based StoSvet project, which also includes the Стороны Света / Storony Sveta and Cardinal Points literary journals, the «Union "I"» web portal, and the annual Compass Translation Award.

Founding director: Oleg Woolf (1954 – 2011)

Editor: Irina Mashinski

www.stosvet.net

One can order this or other books published by StoSvet Press directly from its web-site www.stosvet.net/lib/ or by sending an e-mail to info@stosvet.net

NO PARTS OF THIS WORK COVERED BY THE COPYRIGHT HEREON
MAY BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS –
GRAPHIC, ELECTRONIC, OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING,
RECORDING, TAPING, OR INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL
SYSTEMS – WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE AUTHORS